

СИБИРИАДА

МИХАИЛ
ТАРКОВСКИЙ

ПРОМЫСЛОВЫЕ
БЫЛИ



Сибиряда

Михаил Тарковский
Промысловые были

«ВЕЧЕ»

2022

УДК 821-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

Тарковский М. А.

Промысловые были / М. А. Тарковский — «ВЕЧЕ»,
2022 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8903-7

В новой книге известного сибирского писателя собраны произведения, в которых сочетаются живописные образы промыслового охотничьего быта и необыкновенные, почти сказочные, повороты сюжета. Особенно примечательна в этом плане повесть «Что скажет Солнышко?», где повествование ведётся от лица охотничьей собаки по кличке Серый. Кроме того, в книгу входит ряд повестей и рассказов, написанных в духе сибирского эпоса, а также отрывки из таёжных дневников, рассказывающих о промысловом опыте в приенисейской тайге. Герои книги – старообрядцы, охотники-промысловики, философы и конечно же корневой русский язык в его неповторимом сибирском звучании и колорите.

УДК 821-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-8903-7

© Тарковский М. А., 2022
© ВЕЧЕ, 2022

Содержание

Три урока	6
Ветер	15
Дед	19
Охота	22
Бортовой портфель	25
Каждому свое	28
Не в своей шкуре	36
1. Пять кедров	36
2. Слабовастенько	42
3. Жердушка	49
4. В небе над лесом	55
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Михаил Александрович Тарковский

Промысловые были

© Тарковский М.А., 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

Три урока

Первый – русская литература. Чему она учит? Верности своей земле, чувству хозяйской причастности и любви к читателю. В Иване Бунине пронзительный режущий нюх к жизни, тоска и переживание каждого штриха происходящего, небоязнь сделать его событием и опорой повествования. И впечатление, что душа в стихах, верно исполняя канон, но не найдя простора, потребовала шири, и Иван Алексеевич нашел ее в прозе. Это как река. То режет хребет до полу. То ширию уходит к океану.

Почему поэт идет в прозу? Нет проломной гениальности, и хочется поискать других пространств? Как в доме – либо остаться в сенках, либо дальше двинуть, открыть грядущую дверь. Кто его знает... У прирожденного поэта дом не делится на сенки и горницу, а все одно светящееся пространство. А если есть ощущение простенков и позыв узнать, что за дверью – тогда и в путь. И к нему свой склад: меньше надежи на мгновенные озарения, больше способностей к стройке, что ли. Больше рассудительности. Хотя не то все. Вот так лучше: в поэзии – или попал в цель или не попал. Один выстрел – и соболев в руке! А проза – это как ловушками работать, широко и постепенно. Охватом. Есть время подумать – насторожить ли оба берега, или только этот, где избушка. И можно пол-участка взвести и в базовом зимовье на нарах денек отлежаться под баньку. Чтобы потом остальное досторожить, посмотреть «че да как», а потом внепланово поднять кулемочную дорожку на Лочокó, а хребтовую по гари у Хаканачей прихлопнуть: мыша мало нынче.

И никто никуда не убежит, все в руках и знаешь, что законы совершенства полдела за тебя сделают, только не ленись сверяться. Хотя не высидеть главного крепкой задницей и инженерными мозгами. И пускай в прозе и сильнее чувство подвластности материала, но секундный всполох тоже нужен – озарение уже самой идеей произведения. А она почти всегда в одной фразе умещается.

У Бунина – язык одно из главных действующих лиц повествования. Но не так, как у рассуждающих о форме и содержании, делящих на средства и нечто более важное, им противопоставляемое, – а язык как носитель национальной прапамяти. Каждое слово имеет свою даль и свою историю, и нет ничего прекрасней, чем следить ее, снимать кожурки слой за слоем и доживать до первообраза.

«Завернули ранние холода». Сколько в трех словах силы, сквозящего Русского мира и глубинных воспоминаний! Какие клубы завернулись! И не то слово всколыхнуло пережитое, не то так впечатан в душу образ, что уже нет границы между былым и привидевшимся. Бывает, много раз перескажешь сон, и не знаешь, был ли... И может, сам придумал? «И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка – то летела, выпукло кренясь...» Сколь точный образ! Из этого «бесцельно и скучно» целое состояние души, открывающееся мимолетно и знакомо, и тут же забывающееся и хранящееся в памяти вместе с сотнями таких же достоверных ощущений, которые, оберегая, никогда не зазвучат едино.

Наверное, самое подходящее к Бунину слово – это пронзительность, и, пожалуй, самый пронзительный рассказ «Поздний час». «...И пошел я по мосту через реку, далеко видя все вокруг...» Читатель, прошедший сегодня по Ельцу, повторивший путь героя к тому самому кладбищу, поймет, что речь о реке с большой буквы, о памяти, вечности. Так и идет герой к могиле возлюбленной, по-над которой стоит в небе та самая зеленая звезда, что светила им в молодости. Такие рассказы будто открывают право на существование в литературе повествований без громкого сюжета. Приближают к правде состояния, которое подчас важнее внешнего события. Ведь самое главное внутри происходит. И при потрясениях особенно.

Сюжет о пути через реку на могилу близкого человека предельно старинен, и был у Ивана Алексеевича в крови, наверняка он в детстве слышал народные песни. Вспомним «Ягодку»,

найденную и возрожденную Владимиром Скунцевым примерно в тех же южнорусских местах, только на юго-восток, на Хопре. Есть пасхальный и свадебный вариант прочтения песни, но гораздо таинственней и глубже поминальный смысл «Ягодки». Когда «зеленый хуторочек» – кладбище.

Е-е-эй она бы она закричала
Е-эй красная моя девчоночка
Своим звонким она голоском
Своим звонким голосочком ой да голоском
Е-е-эй перявощик а ты перявощик
Ай да переправь меня да девчоночку
Эх на ту сторону да ряки
Е-е-эй там в зеленом хуторочке
Что на самом на ярочке
Мой миленачик живет

Слушайте Владимира Скунцева и ансамбль «Казачий круг».

Всегда поражает, когда любимый писатель восхищается и очаровывается стариной. Ведь он сам для тебя заповеднейшая старина. А нет – оказывается – и для Бунина так же чужды были времена «Страшной мести», а для Пушкина пугачевская пора.

Есть писатели, которые входят в кровь на заре жизни, а есть, которые позже, когда дозреешь. А есть – что и так, и так. Фронтом и вошли Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский. Оба как из стратосферы. За пределами призваний. Толстой с «Войной и миром», «Казачами», рассказами. Достоевский – с «Идиотом» и «Братьями Карамазовыми». Урок Бунина был прикладной, учил зачину с языка, будто говоря – пока не поставишь, не наладишь перо, не смей и рта открывать. Тысячи людей любят Родину, любят близких, любят места России, но единицам удастся не уронить высокое значение этих слов, пронести сквозь века, передать детям. Трудись. Учись изъясняться лаконично и точно. Да будет твое слово крепко стоящим на земле, но устремленным ввысь и прозрачным как бутылка, стеклянный кувшин. А судьба его сама наполнит.

Уроки Толстого и Достоевского общие, стратегические. Главное – степень впечатанности героев в душу независимо от прозрачности или непрозрачности, образности или необразности – огромность: князя Андрея, княжны Марьи, Кутузова. Может, когда ты мал – и образы огромней? Нет, не в том дело, у других писателей, прочитанных в детстве, не было такой мону-ментальности персонажей. Можно приплести, что Толстой стоял на заре главной литературы и такой первозданности образов не повторить. Нет. Дело лишь в силе. Но если, изучив Толстого, можно постичь его мастерскую и подвинуть с места за нарастание слабостей, то с Достоевским вовсе непостижимо. Настолько он ломает представления о мастерстве, настолько причудливо в нем сочетается стихийное с расчетливо-драматургическим, прикладное с философским, что он так и остается величайшей загадкой. Недостигаемым образцом, утверждающим бесконечность художественного постижения.

Об уроке Астафьева. «Последний поклон» – великая книга. В ней есть рассказ «Конь с розовой гривой». О том, как Добром зло одолевается. Если Бунин в ремесленном смысле учил строгости и прозрачности, то Виктор Петрович – докапыванию до смыслов, обильному и красочному водопадному живописанию, которое, как весенний горный ручей, обязательно промоет дорогу к вещи прозрачности. А совсем к делу – учил не бояться боли. Нести как дар и муку, не щадя ни себя, ни читателя.

Под боком, под бортом у любимого писателя можно долго плыть. Но всегда охота свои плавники опробовать. Есть учеба: оттолкнуться от Астафьева и Бунина, как от берега, и пробо-

вать самому грести. Пытаться приспособить законы-правила к делу: они подогнуться и окрепнуть в твоих руках должны. Схватиться, как заготовки. И зуд в кистях отдаться ответно.

Рисовалась рыбина – картинка, схема повести, осетр такой, и слоями, штриховыми, белыми, черными – сосуществовали в стремительном теле параллельные составные, сложились линии героев, и голова цельно означала вступление, въезд в повествование, а хвост – финал. Главным было единство очертания, плотность и прилегание слоев. Поначалу обычно чужих рыбин рисуют, изучают, и те, радуя, открываются в спасительном сходстве. Потом – только своих.

А как скучно, когда оказывается, что почти все приемами достигается, кроме, конечно, главного. Оно-то и спасает.

С недостижимой высоты глядел Иван Алексеевич Бунин, становилась в рост сила слова, замешанная на глубочайшем знании родной земли, на праве судить самого себя, отождествленного с Отечеством, когда даже барское брюзжание в «Деревне» имело оправдание: это мое, хочю – казню, хочю милую. Да и сам, главное, не сахар.

Иван Алексеевич близок начинающему сочинителю – глядя на него, понятно, как работать неумелому. Хотя нет ничего хуже, чем быть начинающим. Все тебя шпыняют. Даже те, кто не шурупят, как сговорившись, ставят в пример Чехова. А главное, сам толком ничего не можешь, не нажил запаса мудрости, не богат выслугой душевных лет, долгим плаваньем, а требуешь уважения, будто уже все написал, ведь мироощущение-то настоящее, художническое. И, похоже, с самого детства. А доказать нечем. И ничего не остается, как закинуть в лодку самое дорогое, – и чтоб уже не отступить, – столкнуть ее в горную реку, изловчиться, запрыгнуть, черпнув ледяной воды, а там только шестом управляйся – такая быстерь!

Второй урок, идущий всегда параллельным курсом – тайга. Многие пытаются величать этим словом еще и еловые и сосновые леса европейского нашего Севера. Не в обиду – не несут последние того образа, что привораживает в сибирской тайге. И удивительно, что дальневосточная тайга, пышно-кудрявая летом и серо-сквозистая зимой, внешне еще менее похожа на сибирскую, но по своей сути к ней ближе, чем архангельские или вятские леса. Видно, дело в азиатской энергии Доуралья (или Зауралья – откуда смотреть), которая столь сильна, и ее ощущает каждый сюда приехавший, едва выйдя из самолета и хлебнув студеного воздуха. И в историческом – столь велика была разгонная сила первопроходцев, с какой они, одолев гигантскую Сибирь, выкатились к Океану, что и сибирское слово «тайга», братски накрыло козырьком и Прихабарье с Приморьем.

В тайге много соблазнов. Соблазн собственной силы. Соблазн противопоставления города и дальних мест, конечно же, предполагавший ту самую «фальшь» больших городов, света, от которой бежал Оленин из «Казакон».

Все это – двойка. Как повернуть. Поэтому главное здесь – возможность начать с корня. Ничто так не меняет душу, как восходящее движение. Но для него вертикальный разлет, размах нужен. Нет русской литературы без народности и религиозности. А корень – это народность. Знание жизни человека, а не надделение представлениями о нем, как в фильмах горожан о селе. (В фильме «Казакон» Ерошка пришел с ходовой охоты на фазана в пышной бараньей какой-то дохе, накидке поверх черкески. В ней и сибирской зимой-то на промысле упреешь. Хотя написано Толстым: «...за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна – неожиданная, веселая весна для Оленина». Ладно...)

Врет писатель, что не нужно признание, что очищения, испытанного в работе над книгой, в досталь. Слов нет – оно смысл. Но неполный без отклика. И писатель, как дитя, его ждет, зависит нелепо от читательских мнений, питается ими, нарушая простейшие духовные заветы. Судить его за это или не судить – не тема беседы. Но все равно: как дороги отзывы неискушенных читателей, простых людей!

Есть золотце, мелькнувшее с дамского пальчика в театральной ложе. Или над рекой Хомолхó в Бодайбинском районе среди мха, мерзлоты, в кварцевой жиле кристалл золота повел лучами.

В корневой жизни всегда есть для писателя своя гордыня, противопоставление, мол, вы там чистоплюи городские, а мы тут пашем, едри его в пуп. Здесь настоящее, а там нет. Но все зависит от того, какие уроки извлечешь, куда тебя выведет. Если к разлому меж частями России – то беда, а если к монолиту – то и слава богу. Это к вопросу: а нужен ли сочинителю азарт, соперничество на ранних порах? Да все нужно, что к делу.

Тайга без человека – пустое место. Ее образ дорастает именно в промысловой традиции, в силе памяти о былых временах, в разговоре предков с этими просторами, его преемственности. Без этого тайга – открытка. Многие идут-то за открыткой, а привораживаются людьми, собратями по доле и дали. ...Ждал самолета в 1977 году дед в Иркутском порту. Руки – как крjúки, суставы распухшие. Промывальщик, видно. Ладони сами как лотки. Выгнутые чуть не углом и так и схваченные. Сам худой, какой-то бледный в синь. И говорит кому-то, кто рядом, о своем вечном: как *его* (это золото) *искать, цыять*. Паренек, который рядом, может, и ушел, не выдержал, а дед все равно вещает, с жаром, чуть не с отчаянием, проповедует, только бы донести, только бы передать! Да такими словами... Только не вспомнить никогда.

Читатели делятся на две категории: знающие то, о чем читают, с детства ли, с юности. И те, которые не знают, но им близок сам тон, строй книги. Они с листа создают образы, идя рука в руку с писателем. Открывают мир, веря авторскому оку, сердцу. А тем, кто знает – двойная отдача. Вроде бы особо трудиться не надо, только узнавать. Намекнули – уже представил. Но зато... какие тропы тянутся от каждого слову вдаль, к детству, к близким, у кого куда.

«Конь с розовой гривой». Утонувшая матушка маленького Витьки. И плывущая по воде земляника.

И вот старинное промысловое село Ворогово. Далекий год. Мужики с города на катере. Староверы с Дубчеса, выехавшие флотилией на Енисей, сдавать кто чем богат. По большей части ягода. Первым ринулся навстречу покупателям шебутной старовер с двумя ведрами, потом толпа подошла, оттеснила, и катерские взяли ягоду у спокойной и рослой бабы. Шебутной кержак вдруг ринулся к берегу – и размашисто вывалил в Енисей два ведра. Прибой прибил, течение растянуло, и длинной полосой вдоль берега колыхалася брусника.

Урок тайги силен уважением к людям, напрочь выбивает дурь и каприз. Он направлен внутрь человека. Приучает жить, каждую минуту отдаваясь настоящему, питаюсь им, как милостью. Появляется привычка жить, находясь в смысле, и другое воспринимать как болезнь, нелепицу. Тайга – еще и товарищество. И знание самого мерзлотного пласта жизни, который для писателя – золото. И не просто знание, а постижение закона превращения этого знания в литературу, что гораздо важнее. И схожесть литературы, особенно прозы... и промысла. Строй тайги, то стихийный, то аскетический, кристальный, в решеточку, в антеннку. И то, что нет ни одной одинаковой мачточки. И что, когда в дорогу – ничего забыть нельзя, все важно, и спички, и топор, и горячее. По всем осям сборы. И то, что в книге столько осей, что все должны быть выполнены, все емкости заполнены! Если диалоги – то герои должны говорить еще кратче, ярче и характерней, чем в жизни. И что живость героя достигается целым набором качеств, но главное – его *собью*, каким-то собственным необыкновенно убедительным состоянием души, отношением к жизни, до конца автором не разгаданным. И именно это авторское восхищение и переживание неразгаданности, только добавляет достоверности. Допустим, просто раздраженный мужик – и как сильно его раздражение, как заповедно и непостижимо! Что он весь гудит... И веришь.

И если описываешь город, реку или тайгу – то обязательно найди что-то, что тебя поразило в городе, реке или тайге: но чтоб уже описание не костра вышло, а его отсвета в душе. Как в бунинской чайке.

И что писанина твоя – никакая не привилегия, а одна из бесчисленных разновидностей труда: вот замена подшипника, заточка цепей, и вот заточка сравнения, эпитета, вывод лезвия до звона. Вот валка леса на избушку – а вот лесозаготовка первичного образа повести, когда главное – не упустить ничего, не забыть, взять объемом, кубатурой, на площадку припереть, а потом, когда будет уже коло дома лежать – разберешься, главное на месте. Нет ничего труднее, чем из полного небытия создать нечто стоящее, и непосильное есть что-то в таком рождении. Это и есть добыча. Добыть осину на ветку, дерева на лыжи, оленя. Выудить, перетянуть в твое пространство. А как добыл – так и с плеч гора. Как ягоду в коробе принес с листочками, с веточками – потом ответеся.

Дальше только с виду легче. Привести в Божеский вид. Еще каторжней, тем более уже драматургия сложилась, радость испытана, а надо перелопатить в литературный облик. И вроде даже глупо. Все понятно, и теперь формальности. Хотя последние рабочие дни радостны, и мелкие доработки просты и недушемучительны. Тут непохоже на стройку: в избе внутренняя отделка мутрнее, чем возня с бревнами и стропилами.

Но главное-то не сходство ремесел, а любовь. Без любви к тому, что пишешь, ничего не выйдет. Промысел в тайге вовсе не всегда так ярок, как кажется со стороны. Есть и нудные полосы, бывает и оттепель после первых морозов, от которой будто все насмарку. Только капает с дерев желтым, и не пойти: снег не держит, да и мокрый будешь, как выдра. Есть поломки техники, сжирающие время. Есть и просто усталости разных сортов. Товарищ, которым дорожу, рассказывал, как его рвало от усталости ночью в избушке. Не вынести без любви – и к своему делу, и к тому, что вокруг. Получится писать, если полюбишь до слез, как тайгу любят, как любят места, на которые власть рукой махнула, а оно чем дальше и заброшенней, тем дороже. Любят, не противопоставляя одно место другому, а видя всю Россию от Океана до Океана, как узорный плат. А когда на дорогое посягнут, то еще и защитником проснешься.

Когда пролетаешь над такими местами или на время покидаешь – по хребту мураши бегут. Те же мураши, когда о дорогом пишешь – вот делись ими с читателем!

Так и учит жизнь отличать настоящее от поддельного... Книгу от текста, писателя от автора, учителя от педагога. Два урока – урок книги и урок промысла – они вместе. Но с годами уступают третьему.

Наработать слог, настропалиться кроить повествование может каждый средней руки литератор. О пластике мало кто думает, как об отдельном уменье, но, попотев, – справится. Добавить слух к слову, начитанность и вообще интерес к литературе, писательским судьбам. Да и прелесть комнатного труда – не в шахте сапогами хлюпать. Поэтому главное – не дар, а как с ним обойдешься. На какую службу поставишь. Литература, как любое мастеровое дело – это наука, как дареное Богом не угробить. Пустить не во славу своего пупа, а на благо родной земле и ее жителям, раз единственный смысл художественного творчества – оказание духовной поддержки согражданам. А многочисленные примеры иного удачного применения – не более чем искушение. Проверка на верность.

Разрозненные способности ничего не стоят. В прежние времена писали хорошо и не будучи сочинителями. А как пишут самородные гении, каким врожденным даром к слову обладают! Вспомним хотя бы кузбасского художника Ивана Селиванова и его дневники-записки или сочинение Афанасия Мурачева о разгроме Дубчесских скитов. Потому разговоры о «слоге» опустим. Примечательно, что и читатели бывают удивительно необъемные, монорельсовые. Независимо от количества образований и других культурностей. Но учат-то не эти, а те читатели, что, желая выразить благодарность, будто говорят заключительно-главное слово в том отрывке, которое ты пытался вымучить. И ничего нет дороже такого слова.

И штука не в знании приемов, не во врожденном слухе к слову и не в способности озабраться чудным драматургическим или поэтическим решением, а только лишь в умении распорядиться всем этим, взрасти сильным и щедрым сердцем.

Бунин, Толстой, Достоевский, Астафьев – учат мастерству, масштабу. Гумилев и Есенин – ответу за слово. А потом как граница пересечет дорогу и воздух сменит цвет: начнутся живые люди, современники, которые-то и покажут, куда дар направить. Расскажу о двух. Оба сибиряки. Первый – Николай Александров. Родился в городке Болотном недалеко от Новосибирска. Жил в самом Новосибирске, а последние годы – в сорока километрах от Новосибирска, в поселке Колывань. Не путать с рудной Алтайской Колыванью, основанной демидовскими промышленными людьми.

В юности так представляется образ писателя:

Солидный, несколько полный господин с щеками и бакенбардами. Он только проснулся и в халате бродит по обширной квартире с большими окнами. Возможно, на парк. Пьет на ходу кофе или курит трубку. Главное в его состоянии – полное отсутствие какой бы то ни было спешки и озабоченности чем бы то ни было. Вволю побродив, наш классик садится за огромный, покрытый зеленым сукном стол и какое-то время творит, прерываясь на задумчивые проходы по квартире. Далее возможна прогулка. Потом обед, после которого обязателен полуторачасовой сон. Потом кофе или чай. Прогулка. Ужин. К вечеру стол и книги.

Николай Александрович – другой. Его распорядок неизменен на протяжении пары десятилетий. Нижеприведенное впечатление о нем – из первых, давнишних. Коля вставал в шесть утра, по черной мгле мчал на тридцать первой «Волге» на работу в Новосибирск (у него и теперь небольшое, по нашей поре, издательство «ИД Историческое наследие Сибири»). По морозу под сорок. По асфальту в чашах дыр. Мимо бетонного забора ТЭЦ-2 с косыми ребрами устойчивости и невидимой во тьме колючкой поверху. Примчав в издательство, проведя разрядку и отзвонясь, тут же мчал куда-нибудь на «Обгэс», «Мелькомбинат», «Горводоканал» или «Пороховой завод». Просить денег на книги по истории области или на издание какого-нибудь поэта, например, Николая Зиновьева из Краснодарского края (не путать с песенным Зиновьевым). Потом – переговоры, библиотека, журнал «Горница», звонки, ездотня. К вечеру в Колывань. Кормежка куриц и огребание снега. И вопрос к Николаю: «А когда же ты пишешь?» И ответ: «А всегда пишу. Мои рассказы, они внутри, как камушки, точатся, гранясь друг о дружку. Потом я их высыпаю на бумагу и живу дальше, никого не мучая».

Каждое гостевание в Колывани оборачивалось встречами со школьниками. Выступлениями на Рождественских чтениях. Приехав отдохнуть, гость попадал в обмолот.

Александров никогда не уподоблялся издателям, для которых издательская деятельность – средство обогащения и которым нет разницы, «че клепать» – кнопки, пиво или книги. Книги, которые он считал особенно нужными – просто раздавал. «На двадцать миллионов библиотекам отдал. Мне ж «луреатство» дали – Меценат года!» Издал «Историческую Энциклопедию Сибири», разработал и внедрил программу семейного чтения «Мудрые дети», включенную в образовательный план области. По области провел под сотню семинаров по «Мудрым детям» и ни одного творческого вечера со своими книгами. Любимый писатель – Макаренко. Рассказы Александрова нашло питерское издательство «Русская симфония» и предложило издать книгу. Отдал безгонорарно. Зарядил «Народную летопись», которую люди сами пишут. Сотая часть дел... Но тут даже не дела, а дух отношения, которому счастье вторить. Как-то так... И снова вопрос: «Когда же ты пишешь?»

И ответ с каким-то умудренным, но неусталым выдохом:

– Это уже и не важно. Есть вещи, не принадлежащие одному человеку...

Все это уже было, и на горло собственной песни наступали, и ради будущего пахали, как проклятые. И все боятся повторить, оббегают это место, как отравленное, мол, хватит, проехали! А этот, наоборот, туда и метит, мол, в том и сила, что было, чтоб продолжилось! А все корят, даже пишущий журналист из районной, кажется, газеты пытается, но безуспешно: «Николай и сейчас живет расчетливой и до подробности продуманной суеютой: планерки, кучи писем и бухгалтерских отчетов, вымаливание денег на книги. Все бы протестовало против

такой расточительности, если б в его рассказах не угадывались глубинные потоки русских предков-писателей – Толстого, Достоевского и Бунина, которые и дали жизнь этому скромному, но живительному роднику сибирской педагогической прозы». Наверное, это подтвердят и серый бок ТЭЦ-2, и остов Сибсельмаша, и усаженный Колиными елочками и сосенками склон Колыванского угора. И эти строки:

«Я знаю, что когда-то, и совсем скоро, здесь будут стоять разлапистые высоченные сосны, гудеть вековечно и трубно на ветру и янтарно блестеть весенней смолой. А кто-то полюбуется на них, посидит и задумчиво помечтает, прислушиваясь к тишине позднего вечера или к шуму дождевой капли, в которой, я знаю точно, будут отгадываться хрупкие удары моего отгулявшего сердца...

...Так и книги, и написанные, и изданные, мои... и наши книги, и все дела прочие, большие и малые, обязательно прорастут заложенной в них любовью к будущему.

Я успею посадить еще несколько сотен сосен, и дай бог успеть увидеть следы своих дел. Ведь так хочется верить, что каждый след твой нетленно красив».

Еще человек-урок. Писатель из Иркутска Анатолий Байборodin. Родился в Забайкалье, в Бурятии. Отец их, тех, про кого сказано:

Забайкальский мужичок
Вырос на морозе,
Летом ходит за сохой,
А зимой в обозе.

Матушка, в девичестве Софья Лазаревна Андриевская, из Читинской области, из Красного Чикоя, из мест, освященных пресветлым образом Преподобного Варлаама Чикойского, к мощам которого можно приложиться в Казанском соборе в Чите. Предки Байбородина по материнскому кореню происходят из семейских старообрядцев, в свое время оттесненных в Польшу, а потом во второй половине XVII века сосланных в Даурию. Переехали семьями, вроде бы и отсюда название – «семейские».

Надо знать и любить Забайкалье, занимающее первое место по числу солнечных дней в стране и по малоснежности. Климат резко-континентальный, морозный, снега почти нет, а который есть – выдувает, и степь желта и в конце января. Горы, озера с зеленым льдом, чахлый даурский соснячок по сопкам. Бурятские лошадки, возлежащие на федеральной трассе.

Все худо-бедно знают или Байкал, или уж сразу Дальний Восток. А Даурия как-то пролистана нетерпеливым читателем. Но и у нее есть свои радители в русской словесности. По словам Владимира Личутина, «Анатолий Байборodin в Сибири и в России, может быть, один из немногих, а может, и из самых первых стилистов и знатоков русского слова». Многим его проза кажется густоватой, закрытой, даже придуман ярлык: орнаменталист. Но зато какой Русью от нее веет! Как сумел воплотиться писатель в языке, вместив в него и устную народную речь, и обобщенный опыт литературных стилизаций, пропущенный через сердце! Уж сколь говорено о писательских раскладках: этот, дескать, поэт-энциклопедия, этот – поэт-фонотека, этот – библиотека. А тот – едва не форсунка... Дак вот, если на то пошло, Байборodin – писатель-музей. Живой музей русского языка со школой ремесел в пристройке. Забайкальский историко-лингвистический заказник имени Варлаама Чикойского. Принимая во внимание труды писателя по изучению обрядов, крестьянской хозяйственной жизни, языка во всем многообразии пословиц и поговорок, и, конечно, работу над его «Русским месяцесловом». Заповедность, несмешиваемость... Знаете, как капля дождя на замасленном седле.

Вообще, он давно уже не писатель, а носитель и мыслитель. Бывает, так переплетется все в Русском мире, что мозги врасклин, и боязно в раздражении и ошибке не то выплеснуть, а

с Анатолием можно свериться: Сибирь, язычество, Православие, друзья и недруги Отечества, защита, смирение...

...Образы русских пространств, где каждый уголок должен быть воспет в русском слове. Светлая сосновая Чита и Верхнеудинск (после революции Улан-Удэ, то есть Верхняя Уда). Пласты тверди, плавно переходящие друг в друга, насечка промерзлых хребтов, желтой степи, чуть присыпанной снежком. Для чего все это? Да чтобы постичь огромность и закономерность каждого человека, который тем ценней, чем безлюдней вокруг него – сейчас и ценятся-то такие дальние уголки русского духа. Енисей. Лена. Олекма. Колыма. И везде. Везде люди. И каждого ты должен понять и поддержать, добраться и обогреть своими книгами, разделить любовь до последнего мураша. Чтоб крикнул забайкальский мужичок в морозную даль: «Не один!»

Еще одного учителя нет в живых, но есть стихотворение:

Беркуты возвращаются,
взламываются реки.
Громче гудки, слышней голоса.
В рыжем, как хорь,
и в белом, как лунь, человеке
синие-синие намлаживаются глаза.
Где они, тонны тысячелетней хмури?
Нет их и не было никогда.
Ветер – груб и заносчив,
как лейтенант из Даурии,
встречные останавливает поезда.
Вихри солнца!
Гул молодой свободы.
Каждому дереву грянул срок.
И чернокорые березы из Нерчинского Завода,
как декабристские жены,
светло
стоят вдоль дорог.

Это Михаил Евсеевич Вишняков из Читы. Вечная тебе память, старший брат, хоть и не был с тобой знаком лично!

Для таких – и здравствующих, и взирающих на происходящее сквозь прозор вечности, великое предательство, которое пережила Россия во время переворота девяностых годов, – боль неизбывная. И то, как были преданы и попораны все наработки советского периода, стоившего нам стольких сил и потерь, по значению сопоставимо лишь с событиями давних революционных лет.

Первой предала интеллигенция без раздела на русских и нерусей. Литературная дама с тонкой сигареткой: «Э-э-э... поскольку в ближайшее время все решать будут деньги...» «Пе-пе-пе...» Главное – сказать с максимально невозмутимым видом, нога на ногу. А до этого-то! И, «Ах, духовность! Ах, зажимают, бедную!» И, «Ах творчество!» Это тебе не пролетариат, который «гайку точит» и в тарелку смотрит. Или в бутылку.

Ну что ж. Добро! Духовность так духовность. Теперь-то пожалуйста, молись – сколько влезет! Вон храмов понастроили. Но «опеть неладно»: попы плохие! Народ, правда, долго держался, пока привороженность к телевизору и непривычка к Достоевскому не сделали дело.

И все равно. Твердость убеждений, способность служить Отечеству и людям. Умение быть верными во всем знании русской истории, с восприятием ее как родного и неделимого.

Упокой, Господи, многострадальные и мятежные ваши души, дорогие учителя, упомянутые сегодня ушедшие русские мыслители и художники, а особенно те, кому по гроб жизни обязан, но обошел словом в очерке. Бог в помощь тем, кто и сейчас в строю. Далеко-далеко от вас и мурашиная возня столичных литераторов, обслуживающих новую элиту, и их мертвый сценарный литературный стиль, будто заранее упрощенный под подстрочник, и потуги зарабатывать на переводах, из-за того, что, дескать, «наши-то козлы-издатели не платят»... Именно из-за *этого*, а не ради того, чтобы явить западному читателю образ русского человека, щедрого, широкодушного и способного в случае чего и самого европейского книгодея перетащить на закорках через любой разлом, болотину.

«... Жизнь течет дальше. – рассветным байкальским ветерком уразумляет Байбородин. – Матереют сыновья и дочери, уходят в свои, отцами забытые, юные миры; но, будто ангелы в солнечной плоти, являются внуки и внучки и лепечут на ангельском говоре, похожем на перезвон родниковый, тянут ручонки к понурой, натруженной дедовской шее, и от того теплеет и светлеет пожилая, утомленная душа. Жизнь продолжается. Истаивает серым внешним снегом жажда мщенья, и вместе с зелеными майскими и робкими просыпается любовь».

И гуще, по Толстому, настой, взвар жизни с годами. Тут уже и красота замысла вступает: как собрать повесть? И идет художник не от бунинской правды ощущения, когда любое сюжетное обострение, кроме разве что смерти, как измена правде. Вернее, не только от нее... Э-э-эх... Тут важнее не *от* чего, а к *чему*. К плотности. К драматургии смыслов. К житию. К притче. И никуда без эпоса, без истории. И без «Портрета» Гоголя.

Как не изменить? Как отогреть и передать детворе заветы предков? Как устоять народно и державно, когда у самого народа будто слух отбило к чужеродному, и он с такой легкостью вдался в валентины-хелувины? Как остаться верным и такому народу, вылечить его глухоту состраданием и участливым словом? И как не ошибиться, не споткнуться о свою гордыню? Не припозориться, не углядев главного? Сколько чудных людей, подвижников, героев вокруг! Один музей собрал в заброшенном клубе и живет там, как экспонат, другой школу народной музыки! Один издательство тянет, другой заводило, а третий храмы строит. Один крест не снял, и ему живьем голову отняли, другой гранатой себя взорвал, но все повернул по-своему, и за ним сила выбора остались, правда и память народная.

Если действительно в тебе дар теплится – то и обходишься с ним не как с собственностью, а как с Божьей ценностью, неси осторожно, затаив дыханье, не дай бог, стрясешь. А лучше замри, осмотришься, и, затаив дыханье направляй. Знай силу слова, чтоб ни промашки, ни неточной цели, ни рикошета... Чтоб ничего дорогого не прижечь, иконки не уронить... Помоги близким. И хорошо, если и они в свой черед скажут:

– Славные уроки!

Ветер

Осенней ночью ее привез ко мне опаздывающий из-за туманов пароход. В двенадцать часов выключили свет в деревне, а я все сидел с лампой, время от времени выходя в темноту и вглядываясь в мерцающий редкими бакенами фарватер. Когда наконец появилась из черноты извилистая россыпь огней, у меня заколотилось сердце, и, набросив фуфайку, я сбежал к лодке. В луче фонарика мелькнули обледенелая галька и кусок кирпича в прозрачной воде. Пароход загудел, замедлил ход, провел прожектором по безлюдному берегу. Я спихнул лодку и, на ощупь заведя мотор, помчался к ярко освещенной палубе. Она стояла у кормовой дверцы, махала мне рукой и, улыбаясь, что-то говорила матросу, держащему ее сумку. Помню ее холодные щеки, нос, волосы, высыпающиеся из-под платка и сказанные беспомощным шепотом слова: «Соскучилась, не могу больше...» От нее пахло городом, летом и яблочным шампунем. Под утро я вышел на улицу. Там чуть синел восход с плоскими зимними облаками. Когда я вернулся, она спала, лежа на спине, раскинув волосы, заложив тонкую руку за голову. Еще помню свою неловкость весь следующий день: оттого что мы долго не виделись, оттого, что вся она была из другого мира, оттого что приходилось ей все, как ребенку, объяснять – настолько она была беззащитна перед холодом, незнакомыми людьми и огромной рекой... То, что я собираюсь взять ее на осень на охоту, почти никого не удивило – в каждом сидела такая мечта, но одни качали головами: «Замаешься ты с ней – вдруг заболеет?», другие усмехались: «Да тебя теперь из избушки не выгонишь» и один только Гена Воробьев, лучший охотник района, говорил с задумчивой улыбкой: «Бери-бери, Мишка, не слушай их». Но дело было решенным – последние годы мне все больше не хватало человека, который разделит бы со мной окружающую красоту. Обычно с азартом и удовольствием преодолеваешь в одиночку и холод, и усталость, но стоит оказаться в тепле, расслабиться, забраться на нары под треск железной печки и шум ветра, как ощутишь, что давно уже не радуется, а лишь дразнит и томит этот ни с кем не разделенный уют. Груз я увез на «деревяшке» до ее приезда. Прошли очень сильные дожди, вода в Бахте была почти весенняя и мы поехали на легкой дюралевой лодке. Ударил морозец, вода быстро падала, в тихих местах на камнях голубоватым козырьком висел тонкий лед. После Сухой я посадил ее за штурвал, укутал тулупом и, закурив, наблюдал, как она с детской старательностью объезжает игольчатые хлопья шуги. Все было синим: небо, вода и ее глаза в темных спицах прожилок. Днем пригрело, растаял лед на стекле, и мы, не отпуская собак, попили чаю на берегу, а потом долго тряслись по порогам, и когда превратились в лед свежие брызги на стекле, возник наконец долгожданный крутой поворот в высоких берегах. Какими родными показались мне красные осыпи перед избушкой, распадок с белой прядью ручья, и с какой благодарностью глядел я исподтишка на ее широко раскрывшиеся глаза, когда из-за мыса выехала освещенная закатом гора с щеткой лиственниц, которую я всю дорогу берег для нее как подарок! На следующий день пошли дожди, снова стала прибывать вода, и мы поставили сети. Под вечер, когда я копался с мотором, а она чистила на берегу белых тугих чиров, открылось окно в тучах и блестели на солнце мокрые камни в серебристой чешуе и рыжих икринках. А потом посыпал снег, и я пилил дрова бензопилой, и вились метелью опилки, а вечером дул запад, неподалеку с треском падало дерево, скрипела антенна за окном, и я никак не мог заснуть – так странно было ощущать на своем плече ее небольшую теплую голову. Началась охота. Из-за хорошего урожая кедра весь соболь сидел в кедрачах у нижней избушки. Это было большой удачей, потому что насторожить со мной пешком весь участок она бы не смогла, а так она то ходила со мной, то оставалась в избушке. Дров шло больше, но мне ничего не стоило их подпиливать. Я сшил ей маленькие бродни с брезентовыми голяшками, и мне не давали покоя ее остававшиеся стройными и в суконных штанах ноги, косолапо стоящие ступни в черных кожаных головках и перехваченный ремешком подъем с собравшимся

брезентом. Приближался день моего рождения. Каждый раз, как мне казалось, он отмечался чем-то особенным, то необычно ясной погодой, то охотничьим подарком вроде белки, глухаря и соболя, добытых на три пульки. В этот раз он начался с моей любимой музыки, раздавшейся из наошупь включенного приемника. Я приехал с дороги раньше обычного, околотил «нордик», на котором хватил наледи, переезжая ручей, затопил баню, натаскал воды и все никак не мог зайти в избушку, успокоиться, раздеться, все хотел оттянуть приближающийся вечер, все что-то делал на улице, докрыл навес перед избушкой, забрал его жердями с боков, навозил дров и переколол их. А перед баней пошел пешком по деревянной от мороза лыжне в гору наломать пихтовых веток, и, возвращаясь, глядел сквозь сумерки на избушку с пластом снега на крыше, на кургузую баньку с косой трубой, из которой вылетали искры, на облепленную снегом бочку, на стремительный силуэт «нордика» с наклейкой на капоте. Скрипел снег под ногами, в столбах пара грохотал льдом Тынеп, горели звезды на аметистовом небе и в избушке меня ждала она. Наконец все было на самом деле и я знал что, именно таким должно быть это летящее ускользающее что-то, которому даже в лучшие минуты жизни лишь наступаешь на пятки, и которое никогда почему-то сразу не воспринимается как счастье. Когда я вошел в избушку, где что-то вовсю жарилось, видимо, настолько странным был мой взгляд, что она, поглядев на меня, сказала: «Ну что с тобой?», а я только ответил: «Ничего. Иди – баня готова». Несколько часов спустя, уже засыпая, она вдруг сказала: «Как же все-таки ты живешь здесь совсем один?» – «Да так и живу. Люблю, понимаешь? Товарищей люблю, Толяна, Витьку, Генку...» – «Да, Генка редкий человек. Он какой-то и очень самостоятельный, и добрый...» – «Еще бы. Да... Так вот, речку люблю, путики свои... Иду по ним, а затески уже давно смолой заплыли, сколько лет прошло, даже странно, что это все я делал. Избушки люблю, столько в них пережито, передумано. И когда в самолет сажусь, а он взлетает, и под окном чахлые кедрушки... как тебе сказать, в общем, каждый раз на протяжении пятнадцати лет ком к горлу подкатывает... Люблю я все это и хочу быть с тем, что люблю. Может, я и не прав». После дня рождения, ставшего чем-то вроде горки в нашем совместном бытии, все как-то покатило к концу, стало ясно, что все самое яркое позади и что пора думать о дороге. Я должен был ее вывезти, отправить в город, а потом ехать обратно в тайгу. Надо было подгадать дорогу, погоду, это заботило меня больше всего, кроме того, в ее присутствии я все-таки работал в полсилы. Еще я устал от постоянного восхищения ею, и мне хотелось одиночества, чтобы спокойно осмыслить произошедшее. Она уже тоже волновалась: как полетит, как успеет на работу, как там ее мама и вся та другая жизнь. С дорогой нам повезло. Вылившаяся на Бахту после тепла вода замерзла, и мы по морозцу за день доехали до деревни, несколько раз останавливаясь погреться и попить чаю в избушках. «Нордик» жестко и быстро шел по припорошенному льду, и она крепко прижималась к моей спине, пряча от ветра лицо. У Сухой навстречу нам попался Сафон Потеряев. Он несся на белой «Тундре» с горящей фарой, белела борода и сзади в снежной пыли металась, как тень, нарточка с канистрами. Она улетела в тот же вечер на случайном вертолете. Он вынырнул из-за высокого яра и на фоне гаснущего заката ярко вспыхивали его оранжевые проблесковые огни. Мы помчались к площадке, шаря фарой по снежным ухабам, она привстала, обнимая меня сзади за шею, и сквозь рев мотора все громче грохотал вертолет, медленно садящийся в голубом облаке, в белых лучах фар. Сгибаясь под снежным ветром, бежал за шапкой какой-то человек, вертолет все оседал на белых лучах, мигал оранжевый проблеск, все грохотало, куда-то несло, мы судорожно поцеловались, она улетела, и через минуту на темной пустой площадке о ней уже ничего не напоминало. На следующий день я написал ей в письме что не могу жить без нее, что люблю ее и что теперь это навсегда. В обед я уехал в тайгу: погода портилась. Когда я выехал на Новый год в деревню, меня ждали письма от нее: она писала, что у нее никогда не было такого отпуска и что я единственный человек, которого она любит. «Как там на Острове? Как Серый и Ласка? Вчера я увидела на улице лайку и заплакала. Пожалуйста, будь осторожней». После Нового года я еще на полтора месяца уехал

в тайгу закрывать капканы, вернулся в деревню, потом еще два месяца занимался хозяйством, ремонтировал технику, пилил дрова, а в апреле собрался в Москву. Ближе к отъезду я перестал писать ей, чувствуя, что это уже не нужно и что письма доберутся до нее позже меня. Она не писала, видимо, по тем же причинам. Я собирался в дорогу и у меня тряслись руки от волнения. За это время многое во мне отстоялось, и я, может быть, впервые в жизни четко знал, чего хотел. Я представлял, как позвоню ей, как поеду к ней домой, как опьянит меня город огнями, автомобилями, музыкой, как заиграет от ее грядущей близости каждая черточка моего пути, цветочная палатка, где я буду покупать розы, вросшее в чугунную решетку парка дерево возле ее дома, как заговорит со мною вся эта чудная и единственная жизнь, последние годы будто россыпь сокровищ, отделенная от меня толстым стеклом моего одиночества. Мысль о том, что я окажусь навеки связан с одной женщиной, всегда вызывала протест во мне, и все попытки устроить свою жизнь обычно кончались тем, что я уходил, уезжал, ускользал, предпочитая свободу. Но именно с этой женщиной мне было настолько хорошо, она так мне нравилась вся, на уровне запахов, голоса, что все другие просто перестали для меня существовать. Мне нужна была только она, и хоть я понимал, что она вовсе не единственная красавица и умница на свете, мне доставляла особое наслаждение моя обреченность по отношению именно к ней. Я со сладким холодком представлял себе полутьму, язычки свечей, и ее во всеоружии нарядов, косметики и легкого хмеля, понимая, что теперь настает ее очередь, ее власть... Как прекрасно устроена жизнь! А тогда, осенью, я был главным и сильным, она подчинялась мне, и я снисходительно позволял ей собой восхищаться, с каменным лицом направляя лодку в белое месиво порога. День отъезда выдался холодным, ясным и по-весеннему полным света. Я встал рано и пошел на метеостанцию узнать, вылетел ли самолет. Сидящая на утоптанном снегу перед крыльцом сорока казалась такой чистой и крепкой, что хотелось взять ее в руки. В избе у дяди Васи было тихо торжественной утренней тишиной, тикали часы, на свежевывеленной плите стоял голубоватый чайник, на столе накрытая салфеткой тарелка с хлебом. Мы перешли в другую половину на метеостанцию, и сначала долго не удавалось связаться с Туруханском, и я все ходил взад-вперед по комнате, шаркая унтами и глядя на дяди-Васин седой затылок, пока он наконец не повернулся ко мне и не сказал, улыбаясь и снимая наушники: «Летит! Пойдем, билет выпишу». Как всегда, щемит сердце этот взлет, когда, оторвавшись лыжами от полосы, самолет наклоняется и где-то неожиданно сбоку оказывается проносющаяся деревня, дома на белом, кто-то с бочкой воды на «буране», и потом тайга, всегда такая реденькая с воздуха. В этот ослепительный день с голубым воздухом самолет то и дело проваливался в воздушные ямы, а я сидел, прижавшись к стеклу, внизу ехала тайга, и я никак не мог понять, почему же она вся в косую клетку, тонкую и зыбкую, напоминающую японскую ткань, а потом, приглядевшись, понял, что это кедры, ели и пихты, тонкие и острые, образуют сетку со своими же синими тенями на снегу. В поселке Бор таяли остатки снега на деревянном пороге аэропорта. В Красноярске было странно глядеть на холеные незагорелые лица, на породистых, продуманно одетых женщин, на сверкающие витрины с пивом и закусками, мимо которых я проходил спокойно, зная, что все это у меня еще впереди и, представляя, как мы пойдем с ней вместе выбирать мое любимое пиво с синим оленем. Можно привыкнуть за несколько часов переживать то, что положено пережить за несколько дней, и можно летать на самолетах, как на такси, по делам службы, но когда дорога связывает главные острова твоей жизни, есть что-то страшное в длинных перелетах. В Москве шел дождь... Не было ни свечей, ни полумрака, ни подкрашенных ресниц, был только ее чужой голос в трубке, просторная, выложенная зеленым кафелем, кухня и ее лицо с острыми скулами и тонкими косыми бровями. И подрагивающая длинная коричневая сигарета в ее пальцах, когда она говорила, опустив глаза: «Знаешь, лучше сразу тебе все скажу... В общем, у меня началась другая жизнь. Я ждала тебя три года, ты действительно ни на кого не похож, с тобой хорошо, не то слово, но... Помнишь, ты говорил мне, что у тебя не хватает мужества, не знаю, мудрости, любить на расстоянии, жить не вместе

с тем, что любишь?» – «Помню...» – «Я такая же. Кроме того, я обычная женщина, и мне хочется как-то устроить свою жизнь. Вот». – Ты меня поцелуешь?» – «Да...» И ты пойдешь. На ней были черные вельветовые брюки и облегающая грудь рубашка, белая, просвечивающая, в тонкую штриховую клетку, точь-в-точь как на утренней тайге под крылом, когда я летел, полный надежд, из Бахты. Не было ни туфель, ни платья, ни запаха духов, вообще ничего не было из того, о чем я мечтал столько дней, и все это уже не имело никакого значения. Были только свежие морщинки у ее глаз, когда она улыбалась, и нестерпимо хотелось расправить их... Я вышел на улицу, где в ярком и холодном блеске городской ночи шел молодой дождик и текла вода по желобкам трамвайных рельс, и от ослепительно освещенного цветочного ларька бежал с ворохом малиновых роз молодой человек в черном костюме, бежал к белому спортивному автомобилю, в котором за мокрым зеленоватым стеклом сидела улыбающаяся девушка в красном открытом платье. Я шел и думал о том, как обрушится на меня непосильной ношей обратная дорога в Бахту, как все то, что могло бы принести волшебную радость, будет теперь только подчеркивать ужасающую пустоту вокруг меня. Я думал о том, как буду собираться на охоту, грузить свою деревяшку, как поеду по Бахте и каково будет мне проезжать все эти ручьи, распадки, мыс, где мы с ней пили чай. И что будет дальше, когда я приеду в избушки, где еще верное время хранит ее присутствие, где она наверняка что-то забыла, какую-нибудь расческу, носки или еще что-нибудь, ждущее своего часа, чтобы на меня обрушиться. Почему всегда жизнь готовит то, чего в этот момент не ждешь и от чего становится так больно, что нет сил жить, и только опыт говорит: «Терпи, все пройдет». Я стал представлять себя в лодке, камни, ржавые лиственницы на берегах, облако с косой занавеской снега, ветер, волны, запах бензина и кружащих в вышине больших северных чаек, и стал и во мне подыматься ветер, порывистый, отчаянный, подхватывающий душу, которая вот-вот уже сама, как чайка, закружит, распластав крылья и расширяя круги, высоко над всем происходящим, над всем родным и навсегда любимым, и увижу я в снежной мгле широкую реку с лодкой и моей фигурой, и этот город, и цветочный ларек, и тебя, и клетки на твоей рубашке, и скажу: любимая, ты правильно поступила – нельзя вечно ждать таких, как я... Спасибо тебе за этот ветер.

Дед

Даже когда Дед плел самые небылицы, глаза его оставались удивительно голубыми и честными. Был он родом из-под Брянска, а в Бахту приехал с верховьев Подкаменной Тунгуски, где, по его словам, кем только ни работал. Сначала Дед жил в старой промхозной конторе среди запчастей от моторов, «дружб» и телевизоров, собираемых им по всей деревне. Потом привез с конюшни старый срубишко «на баню», обил его изнутри вольерной сеткой со зверофермы и обмазал цементом. Кончилось тем, что он в нем и поселился. «Баня» была намного удобней, чем прежняя контора, называвшаяся теперь у него «складом», здесь Дед, не вставая с кровати, дотягивался до любого предмета – до печки, до телевизора и до сахара, мешок которого лежал под кроватью и который он сыпал в чай столовыми ложками, так что в кружке у него всегда был сладкий осадок, доставлявший неудобства при разливании водки. У Деда было правильное лицо, густые брови, крупный прямой нос, и если бы не единственный зуб и желтые от курева борода и усы, дать ему можно было от силы лет пятьдесят. Как-то зимой у Деда в начале недельной пьянки потерялась сучка. Переживали все соседи и сам Дед: «Наверно, собаки порвали». Я зашел к Деду за какой-то железякой. Дорогу к нему задуло, лишь от двери шли две короткие глубокие тропки: к дровам и к уборной. За железякой надо было идти в «склад». Я откопал лопатой дверь, Дед, в майке, трясясь от холода и похмелья, открыл замок, и из двери радостно выскочила пропавшая сучка. Дед почти не удивился, отметил только: «Сучка. Даже не похудела». Дед постоянно плел всякую ерунду, иногда это забавляло, а иногда жутко раздражало. Он ляпал, не подумав, что-нибудь, вроде того, что алюминий ржавеет не хуже железа или что он работал капитаном катера на Онежском озере, что уже смешно, и там было в воде столько травы, что, когда она наматывалась на винт, ее приходилось опиливать «дружкой», – «раз три цепи запорол». Когда ему говорили: «Дед, ты что городишь?» – он начинал придумывать обоснование, ссылаясь на кучу случаев, крича и обижаясь. Как-то раз обсуждались средства защиты продуктов от медведей, в частности, железные бочки с крышкой на болтах. Дед не удержался и вставил, что у него в тайге тоже есть такая бочка и что он ее не привязал к дереву, как положено, а закинул «на вышку», то есть на потолок под крышу избушки. Поняв, что сморозил глупость – медведь запросто скинет ее и укатит куда-нибудь в ручей, (все уже было открыли рот, чтобы крикнуть: «Ты что несешь, старый пень!»), а он быстро нашелся, пояснив, что не на такую вышку, а на геодезическую. Все захохотали, потому что это уже ни в какие ворота не лезло, и Дед тут же согласился, что да, высокая вышка, метров сорок, с нее аж поселок Бор видать. Тут на него опять набросились: «Дед, имей совесть, до Бора сотни три верст», на что Дед ответил, что, конечно, сам поселок не видать, но в ясную погоду «испарения поднимаются – сам в бинокль видел». Дед вечно что-нибудь чинил или собирал и время от времени делал вылазки в деревню. Ходил он в свитере, коротких тренировочных штанах и клетчатых тапочках на босу ногу. Завидев его, мужики настораживались и старались скрыться, но не тут то было, Дед уже бежал, кричал: «Колька, стой!» – и клянчил правый поршень третьего ремонта, «менбраму» от насоса, проволоку «нихрон» полмиллиметра или «лапку на десять от пэтээски» для телевизора. Телевизоры он храбро чинил большой отверткой и паяльником. Был у Деда и «буранишко», которому он вечно центровал двигатель и менял одни и те же гусеницы. Приехав как-то на Новый год с охоты, он бросил его у клуба. К ночи даванул мороз, и завести его снова Дед, к тому времени изрядно пьяный, не смог. «Буранишко» остался посреди деревни на пяточке, где пересекались интересы большинства бахтинских кобелей, которые, обступив снегоход, без остановки задирали над ним ноги, так что через неделю он оброс толстой ядовито-желтой броней. Обкалывать ее на глазах у всей деревни Дед постеснялся, и гордо утархтел на своем ледяном красавце в тайгу. Больше всего на свете Дед любил «бомбить самоходки». Он брал ведро красной рыбы, забирался по трапу на судно и гудел на нем несколько дней с каким-нибудь

механиком, таскал ему рыбу и в конце концов выгружал на берег какой-нибудь холодильник без дверцы, колонку от магнитофона или старинный ковровый мотоцикл с зайцами на боку – «коробку заменить – и как новый будет». Таким же образом появилась лодка, грубо крашенная желтой краской, с надписью «т/х Азов». Дед надевал черный китель с блестящими пуговицами и фуражку, заводил мотор и мчался наперерез проходящему судну, привстав за штурвалом и маша рукой. Капитаны стопорили машины и послушно принимали веревку, а Дед, жестикулируя, вылезал на палубу, и хотя ниже кителя капитанский наряд кончался и шли «трико» с тапочками, было уже поздно, и Дед успешно брал на рыбу нужное количество водки или спирта. С рыбнадзором Деду везло, ловили серьезных матерых мужиков, а ему почему-то удалось отбояриваться. Остановили его как-то с полным бардачком стерлядок.

– Откуда едешь? – спрашивают.

– С покоса.

– Бардак открой.

– Ключа нет.

– Где ключ?

– Дома ключ.

– А что в бардачке?

– Так, сухорашки разные, – ответил Дед и так честно глянул голубыми глазами, что те уехали.

Зашел я раз к Деду. Он сидел в майке на несвежем, цвета весенней водицы, пододеяльнике, гудела печка, вместо табуретки блестел отшлифованный задами гостей бурановский двигатель, остальное место занимали три телевизора: один Дед смотрел, другой слушал, а на третьем стоял чайник. Вскоре собралась небольшая компания, пошла в ход бутылка, и завязался разговор о том, что было бы, если бы в правительстве у нас «свой корефан был – проси что пожелаешь».

– Я бы себе нового вихря заказал, – сказал Дед.

– И все, что ль? – спросили мы, перемигиваясь.

– Ну почему все?

– Лодку еще, «Крым». Его, правда, на волне колотит, лучше «Прогресс» четвертый, или хрен с ними, обои возьму, ну, вихрюг еще пару, бензина, бочек двадцать или сто, да нет, не сто, танкер лучше.

Тут началось:

– Дед, а мне пару бочек накатил бы?

– Дед, а я слышал по радио: американцы новый магнит придумали – утопленные моторы на три метра из воды выскакивают – берем?

Дед кричал:

– И магнит! Вали магнит! Все берем! А с горючкой, мужики – подойдете и возьмете сколько надо! Да! Блесен еще зимних, кругов обрезных, ремней вариаторных, топоришков за два пятьдесят, сетей, рублирида, веревок капроновых, сахара, дрожжей... ну водяры, естественно – всех бы упоил, ресторан на угоре с баром бесплатным, пароход свой в Красноярск за пивом ездить и вертак чтоб на площадке стоял заправленный с экипажем. – Дед почесал затылок. – Да... Ну, участок около деревни... ну, – карабин с оптикой, ну че еще, ну денег – хрен с ними. – Потом замолк, и вдруг выпалил: – Да! Да! И еще! Еще, чтоб можно было рыбу ловить и на самоходки продавать!

Потом еще пили, Дед сплясал, спел осеннюю частушку: «Поехала-посыпала погода сыроватая. Сверху девка ничего – снизу дыроватая!» А потом упал на телевизор и рассыпал коробочку с радиодетальями. Половина деталей провалились в подполье. Наутро я пошел прогуляться по профилю (дороге, когда-то пробитой экспедицией) набрать рябины для настойки. Сначала чавкал по разбитой тракторами дороге мимо пустых бочек, мимо дизельной, из кото-

рой гулко строчила толстая труба, и в дрожащем мареве выхлопа плавился осенний лес с засохшими елочками по краю. Потом шел дальше в тайгу с увала на увал по сырой от дождей дороге. День был свежий, ясный, холодно блестели лужи. Дорогу устилали яркие осиновые листья в тугих каплях дождя. На дне луж тоже лежали листья. Топорщились корни, краснела брусника на кочках. Попадались обклеванные рябины, висели на невидимых веточках плоские темно-красные листья, и дорога, в ярком, будто светящемся, коридоре, поднималась на увал и, казалось, уходила прямо в синее небо. А я шел и думал: «Дед-то хоть болтун, а молодец и все правильно сказал – ведь то, что он перечислил, ему уже наскучило во время перечисления. Он и на новых лодках покатался, и в ресторане погулял неделю, и в город слетал, а выбрал-то в итоге то, чем он занимается на самом деле и что ему больше всего на свете нравится – ловить рыбу и менять ее на всякие сухорашки». Вскоре я набрел на крупную кирпично-красную рябину и набрал ее полную котомку. Настойке, естественно, так и не дали настояться. Едва я ее залил, зашел Дед – я в это время растоплял печку.

– Дай похмелиться – башка болит. – И добавил, закусывая хлебом и сопя: – А че полено оставил? Примета есть – один будешь всю жизнь. Навроде меня.

Охота

Осень выдалась затяжная с ранними морозами. Тимофей в шугу и снег пробивался на участок, опасаясь, что река станет в узких местах и он не успеет развести продукты. Вода была низкая, кругом торчали камни, мешала шуга, закрывая дно. Бензин нынче привезли плохой, смешанный с соляжкой, и, чтобы утром завести мотор, приходилось выливать на цилиндры с полчайника кипятку. В мелкой и длинной шивере возле Бедной речки несколько раз глух мотор. Грузеную лодку тащило назад вместе со льдом, в окнах между льдинами мелькали рыжие камни, и Тимофей в десятый раз дергал мотор и снова, стиснув зубы, пробирался вверх, не обращая внимания на пронизывающий ветер и снег, секущий лицо. Но едва он добрался до первой избушки, степлило, пошел дождь, а потом долго стояла весенняя солнечная погода, и лезли от тепла в голову ненужные воспоминания. Соболь уже «вышел», то есть оделся в зимний мех, но Тимофей все не решался настораживать капканы, боясь спарить пушнину в такое тепло, и в ожидании мороза рубил кулемки, ловил рыбу и вместе с мужиками костерил по рации погоду, у которой «вечно все не вовремя». Жизнь как бы остановилось. Копаясь у берега с мотором, он тупо глядел на упавшую в воду отвертку. Она, серебрясь, лежала на каменистом дне, над ней плавали мальки, и казалось, что это все уже когда-то было. Однажды поздно вечером он вышел на улицу, не веря своим глазам – все было белым от снега. Взятый с чурки колун оставил черный силуэт. Тимофей заснул, успокоенный и полный надежды, а утром снова шел дождь, и снега как не бывало. Он взялся строить баню, навалял леса, толстых мясистых кедрин, обрубил сучки, раскряжевал лес на бревна, стаскал их веревкой к избушке, а вершинник распилил на чурки, переколол половинками и сложил в поленницу. На другой день взялся за сруб, и вечером курил у костра, глядя на подросшие стены, на яркие свежеспротесанные бревна, на гору длинных смолистых щепок под ними, в который раз дивясь упрямой силе, с какой растет среди строительного беспорядка крепкий светло-желтый куб. Закончить его он не успел – пошел снег. Осень пронеслась, как запой. . . Он шел по путику, собаки кого-то лаяли, он бросал капканы, и провоевав с ушедшим в корни соболем, пил чай, вдыхая едкий запах паленого лишайника и распекая за «лукавость» небольшую рыжую сучку. Горело лицо, сизыми иглами вытаскивал снег вокруг костра и единственное, о чем он жалел в эти минуты, что не было рядом сына Вовки. С каждым снегопадом все глубже уходили в снег валежины и прочий хлам, наконец замерзла река, позволяя срезать по льду любой изгиб берега, и хорошо было первый раз прокатиться на «буране», заехать прямо к избушке, наделать разворотов, навозить дров и сложить их у самых дверей. Но осень давно прошла, давно стояла зима, близился Новый год и многие охотники уже выехали домой. Тимофей, настроясь на еще одну проверку капканов, чувствовал, что не выдержит и сорвется раньше. Перед глазами стояла праздничная вечерняя деревня с лучом снегоходной фары в конце улицы, кто-то, аппетитно скрипя валенками, торопился в клуб, чудился запах пельменей, но дело было даже не в пельменях, а просто в ощущении тепла, праздника и дома. Он представлял, как напарится в бане, отмоеет руки, как будет сидеть в избе на лавке, накинув полотенце на голые плечи, пока Лида достает из подполья грибы, черемшу в банке, переложенную камушками, как привалится к нему повзрослевший Вовка. Тимофей ждал, пока сдадут морозы, но время будто снова остановилось, как тогда осенью. Когда чуть потеплело, он поехал, сначала тайгой до избушки охотника-соседа, который был уже дома, потом рекой. Дул с юга встречный ветер, мутно глядело солнце. Возле порогов он влез в наледь и часа два вытаскивал «буран», раскатывая взад-вперед траншею в зеленой дымящейся каше, потом наконец выгнал его на твердый снег, долго ворочал с бока на бок, выгребая мокрый снег из катков и дыша на красные руки. Темнело, несся снег, стыли мокрые ноги. Наконец он выколотил гусеницы и поехал дальше – километрах в семи была избушка, когда он в нее входил, пальцы на ногах почти не чувствовали. Домой он добрался на другой

день под вечер. Лиды не было, у телевизора клевал носом Вовка, а посреди комнаты стоял новый сервант с блестящими рядами рюмок. «Купила, не посоветовалась, – досадовал Тимофей, – все хочет, чтобы как в городе было, лучше б мотор новый взяли...» Тимофей любил живое дерево, все делал сам, ему нравились бревенчатые стены, струганные столы и лавки. Сервант шел всему этому, как корове седло. Значит, штукатурить придется, обои клеить... Хоть бы передала по радию через мужиков, я бы приготовился. Пришла Лида, Тимофей, как ни старался, не мог скрыть недовольства, встреча произошла совсем не так, как он мечтал. Он помылся в бане, выпил стопку, поел, лег к жене, обнял ее. Она сказала извиняющимся шепотом: «Тимош, нельзя сегодня...» Он поцеловал ее в щеку, лег на спину, закрыл глаза – навстречу побежала освещенная фарой бурановская дорога... Утром, когда Лида ушла на работу, а Вовка в школу, он лежал, вялый, под мягким пухлым одеялом и курил сигарету с фильтром. Потом пошел в контору – не терпелось встретиться с мужиками. Те сидели по домам и разводили руками, косясь на супруг. Собрались через несколько дней, когда настрой уже прошел и вместо веселой встречи охотников получилось напряженное застолье с наряженными женами, все до осоловелости наелись обильными закусками и разошлись по домам. На другой день, под вечер, Тимофей вез воду с Енисея и, завидев дымок над Витькиной мастерской, остановился и открыл низкую дверь. Витька с Серегой меняли гусеницу, глаза у них блестели. Тимофей отвез воду и сказал Лиде, что пойдет поможет Витьке с «гусянкой». В мастерской горела лампочка, стоял на боку красный измятый «буран», пахло бензином, сидели дружные веселые мужики в засаленных фуфайках, вился папиросный дым, на ящичке лежал хлеб, луковица и мерзлый омуль. Домой Тимофей пришел в третьем часу, дверь была заперта изнутри. Он постучал. Лида не спала и, казалось, все это время готовилась к скандалу: «Че колотишь! По голове себе колоти! Иди к своему Витьке! Буран он делает, а сам нажрался, как свин. Три месяца ждала его, дел полно, не может дома побыть... Завез в дыру, а сам только и норовит удрать... То к Витьке, то к Митьке, то в тайгу свою... Да ты туда от работы бежишь! Небось придешь в свой лес и на нарах валяешься кверху брюхом, а тут горбатся, как проклятая, с водой да с дровами...» Тимофей уже хотел повиниться, но последние слова жены вывели его из себя, он хлопнул дверью и ушел ночевать к Витьке. Вернулся на другой день, Лида ходила надутая, продолжала ворчать на него при Вовке. Он завел «буран», зацепил сани и уехал за сеном на ту сторону Енисея. Зарод был в толстой коре прессованного снега. Тимофей откалывал его лопатой: «Все равно помиримся, деваться некуда». Пахло сеном и летом, ехал по снегу сухой цветок пижмы. «Ее тоже понять надо: не он – жила бы себе в Лесосибирске, баба красивая, вышла бы замуж за кого-нибудь начальника. А с Вовкой костями лягу, а по-своему сделаю». Тимофей подцепил вилами пахучий пласт сена: «Придумала тоже – радиотехнический»... Вечером они с Лидой собрались посмотреть фильм, но рано выключили свет, не хватало солярки – разгильдяй-тракторист по осени переехал шланг и половина горючего уткнулось в землю. Утром начальник собрал охотников в конторе. Речь шла об оплате пушнины, цена на которую падала. Все зависело от каких-то людей, организаций, надо было вникать, кого-то понимать – будто от этого что-то менялось. Домой Тимофей пришел мрачный, все расплзлось по швам. На кой хрен мчался, в воде сидел, технику гробил?.. По телевидению рекламировали электронную машину последнего поколения. Ее обладателей ждали новые удобства и независимость, а в итоге еще большая зависимость от фирм по обслуживанию и без конца устаревающих технологий. «Так и хотят тебя беспомощным сделать!» – раздражался Тимофей. Потом вокзального вида певица что-то спела на подозрительно знакомую мелодию. «Да пошла ты! – сказал Тимофей и выключил телевизор. – Ладно, Новый год пережить, а там обратно на участок»... Он отминал соболей и думал о тайге, где если что и случается, то только по собственной дури. Он думал о своих сиротливо-пустых избушках, о повороте реки с высоким берегом и парящей полыньей, о чем-нибудь еще неделю назад смертельно важном, а теперь вдруг отодвинутом куда-то на задворки души. Только бы Вовка побыстрей вырос... И он представлял, как будет

охотиться с Вовкой, как покажет ему дороги, через год-другой отдаст избушку, как обязательно по осени заночует с ним в тайге – там, где мир сведен до размеров, когда в нем еще можно навести порядок своими руками.

Бортовой портфель

В декабре незадолго до выхода перестали ловиться соболя. Стояли морозы, и, пробежавшись по открытым лыжницам, Василий рано возвращался в избушку, и хотя вскоре темнело, он успевал не спеша сходить по воду, подколлоть дров, сварить собакам, обработать редкого соболька и белок. На том дела и кончались. Еще можно было подлатать штаны, выточить старый зазубренный топор и полистать истрепанный журнал с унылыми городскими историями. Но было интересней, прикрутив лампу, лежать на нарах и вспоминать... Как-то еще давно в Бахту приехал молодой, полный сил, охотовед, задумавший провести учеты боровой дичи в одном далеком месте на левобережье Енисея. Вместе с Васькой, которого он взял в помощники, они должны были залететь с лодкой в вершину реки, дожждаться ледохода и, спускаясь вниз, посчитать глухарей. Охотоведа звали Лехой. Это был рослый поджарый парень с серыми глазами и светло-русый ежиком на небольшой круглой голове. Он улетел в Подкаменную добывать вертолет, а Васька остался готовить груз: лодку, мотор, бензин и продукты. Прилетел Леха, они торопливо загрузились под грохот винтов и полетели. Кроме них в вертолете сидел на горе досок мужик в мохнатой кепке. Озеро соединялось с рекой протокой. Леха выпрыгнул на лед, Васька кидал груз. Лехиных вещей он не знал и, схватив большой черный портфель, было засомневался, но мужик с досками закричал сквозь грохот, кивая на Леху: «Это евоный! Евоный! – Васька выкинул портфель вслед за остальным. Потом они открыли задние створки и выгрузили лодку и бочку с бензином. Вертолет унесся, они сходили в избушку и там от души посмеялись, потому что Леха, решивший бросить курить, специально не взял папирос, а в избушке висел их огромный полиэтиленовый куль. «Значит, не судьба. Спасибо, Серега», – сказал Леха кулю, сладко закуривая, – охотника, который здесь охотился, он хорошо знал. Избушка стояла в соснах на высоком берегу старицы, пол в ней был песчаный. Возле груза Леха спросил: «Че у тебя в портфеле-то?» – «Это я у тебя хотел спросить, на хрена ты портфель взял?» – «Выходит, мы у них портфель сперли», – помолчав, сказал Леха. Портфель был туго набит папиросами. Весна в тот год не на шутку затянулась, и вместо десяти дней они просидели на озере месяц. Места были странные и непохожие на то, к чему привык Васька. Река петляла в поймах, поросших елкой и пихтой. С высокого места были видны кудрявые сосновые увалы, белели тундрочки с сосенками. Все кишело живностью. В весеннем тумане бубнили невидимые косачи, ганькали из поднебесья гуси. Но тепло быстро кончилось, завернул север со снегом, несколько дней низко неслись серые тучи, а потом настала ясная погода с ночными морозами, теплыми днями и твердым, как пол, настом. Ранними утрами Васька с лыжами под мышкой (чтобы не увязнуть на обратном пути, когда наст ослабнет) ходил на глухариный ток. Помнил он ослепительное утро, наполненное рассеянным светом. Вдали раскати-сто дроботал дятел. Сосняк хорошо просматривался, и впереди метрах в ста медленно шел по насту, чертя растопыренными крыльями и щелкая, угольно черный петух с запрокинутой головой. Время шло, но настоящего тепла не приходило. Дело затягивалось, могло не хватить продуктов. Повезло еще, что в первые дни они добыли сохатого и были с мясом. Но сидеть на месте уже надоело, опостылила избушка, песчаный пол, в котором терялась иголка, надоело следить за ветром, облаками, за прибывающей водой. Леха ходил на учеты, Васька ловил подо льдом в озере окуней и щук. Каждый вечер они караулили на промоине уток, сидя в густых елках. В озере уже была заберега и они утащили туда лодку, завели мотор, проехали в протоку, а потом с ревом пронеслись по промытому участку реки метров триста и вернулись обратно. Уже сильно прибывала вода и через несколько дней затрещала река, но не вся, а участками – ближайший кривляк еще стоял, а дальний вовсю шел. Наутро Васька пошел туда через лес и вскоре увидел впереди сквозь елки что-то непривычно блестящее. Это была чистая вода, по края налитая в берега, в ней отражался лес и плавал, покрякивая, яркий свиязь с рыжей голо-

вой. На следующий день прошел и их кривляк. Старица у избушки еще стояла, они уволокли лодку к воде и помчались вверх. То и дело взревал мотор, нацепляя палок. Леха, стоя за штурвалом, вдыхал налетающий прохладными волнами весенний воздух. Впереди реку перегородил ледяной затор, и они, будто помогая весне, таранили его лодкой, пока он не зашевелился, и потом мчались дальше, расталкивая льдины. Потом они уехали вверх на приток, предусмотрительно закатив бочку с бензином на угор в лес. Жарило солнце, стремительно таял снег, на глазах прибывала вода. Через два дня, беспокоясь за бочку, они рванули назад, высидев короткие сумерки у костра на высоком сосновом берегу. Было холодно, горел рыжий восход, вода лавиной неслась по лесу, срезая повороты и валя деревья. Потом они, уперев «Прогресс» в елку, по пояс в ледяной воде затаскивали уплывающую бочку и, стуча зубами, подъезжали к избушке и не могли узнать места, потому что вода стояла у самого порога. Потом гудела печка, капала вода с развешенной одежды, и Леха лежал без рубахи на нарах, свесив руку с разбитыми пальцами и узким запястьем, от которого расширялась к локтю крепкая налитая мышца. Резкое тепло после такой долгой и снежной зимы дало небывалую воду. Они загрузились и поехали вниз. Следующая избушка стояла наполовину в воде. Под крышей у куля с овсянкой сидела толстая рыжая полевка. Васька забрался через окно внутрь – на полке лежала книжка под названием «Потоп». Потом они долго ехали, ища твердый берег для стоянки. На новом месте несколько дней считали птиц, после ехали дальше, снова работали – и так недели три. Давно кончился сахар и чай, они заваривали бруснику и чагу, которую Васька возненавидел на всю жизнь. Вылез задавной комар, собаки скулили, Васькин кобель однажды не выдержал и ломанулся к спящему хозяину, своротив полог. Река стала прямее и шире, утка уже не подпускала. Они поставили сеть в старице, поймали язя, двух карасей и щуку. Вода падала, и, чтобы пробраться к сети, пришлось на себе тащить лодку по протоке. Уже хотелось на Енисей, домой. Ваську беспокоило, как управится бабушка с картошкой, и он считал дни, Лехе тоже все надоело, хоть он и не подавал виду, продолжая намечать на карте точки будущих учетов. Их оставалось еще на неделю – в ста километрах стоял поселок. Приемника у них не было. Людей они не видели месяца два. Вид серенькой казанки на берегу и вешалов для сетей взбудоражил их. Навстречу на ветке ехал остяк. Они остановились, он подгрел под борт. У него были узкие серовато-зеленые глаза и копна черных с проседью волос. Они поговорили, покурили, заодно поинтересовались, работает ли в поселке магазин. Остяк в ответ спросил сколько времени и, помолчав, бросил: «Работает. Еще успеете». Они переглянулись. Васька дернул мотор и через три часа они были в поселке, где мужики дружно таскали ящики с водкой со склада в магазин – только что разгрузился караван. Они стресли с прилавка в рюкзак банки, пакеты и бутылки, поблагодарили бойкую расфуфыренную продавщицу и спустились к лодке, где Леха дал изголодавшимся собакам по полбулки хлеба, сказав: «Налетай – подешевело! «Потом они завели мотор, отъехали от поселка, запалили костер и просидели у него всю белую ночь. Днем они вернулись в поселок, нашли Серегу, помылись у него в бане, рассказали, что творится в тайге, где какую избушку затопило и прочее. Услышав про портфель, Серега захохотал. Он только что летал в Подкаменную, и в аэропорту к нему подошел командир эскадрильи: «Мы тут твоих друзей на Лебяжье забрасывали. Они как, ничего?» – «А что?» – насторожился Сергей. «Да так. Они у нас бортовой портфель украли». Вечером пошли в клуб. Там было полно девок-остячек, грохотал в полутьме дребезжащий динамик, остро пахло помадой и духами. Васька стоял у стены в закатанных сапогах и энцефалитке, Леха крутил вокруг себя надушенную продавчихину дочку с пушистой прической, рядом извивался особым извивом круглолицый парень в тренировочных штанах и пиджаке, а в углу на фанерном стуле одиноко сидела неказистая остяцкая девушка с выдающейся челюстью и большими черными глазами, которую Леха вдруг вывел за руку на середину зала в медленную музыку... Он аккуратно обнимал ее за плечи, а она послушно кружилась, уткнув голову ему в грудь. Когда наутро они грузились в лодку, подошла вчерашняя девчушка и, краснея, сунула Лехе сверток со словами: «На,

возьми, своей подруге подаришь». Они отъехали, и Леха развернул тряпку – там лежали олени сапожки-унтайки, расшитые бисером. Леха покачал головой и сказал, погладив длинную серую суку: «Вот она, моя подруга. Ох, девки-девки... У этой Верки, между прочим, ни отца, ни матери». К вечеру они были на Енисее. Всю дорогу, пока они ехали, кругом в небе клубились грозные тучи, сверкали молнии, и лишь над их головами висел круг ясного розоватого неба. «Верка нашаманила...» – хитро щурясь, говорил Леха. Теперь, зимой, под конец охоты Ваське так же, как и тогда, хотелось к людям. Он вспоминал круглое озеро, избушку в соснах и Леху... Как тот лежал на нарах и как свисала над песчаным полом его загорелая сильная рука. С какой бы радостью он сейчас пожал ее! Но Леха еще в тот год уехал работать начальником участка на северо-восток Эвенкии, и там ему отрубило эту самую руку винтом от самодельных аэросаней.

Каждому свое

– С Новым годом! – буркнул Паша, еще раз все оглядев. – Главное, самому потом не врюхаться, – и добавил, хмыкнув: – С похмелюги. Ладно, кому положено сгореть, тот не утонет.

Место он выбрал приметное – кулемка (деревянная ловушка) на бугре, дальше спуск к ручью. Ружье привязано к кедрине, капроновая нитка натянута к через крышу кулемки к листвени.

– Погнали. – Паша позвал собак, накинул тозовку и упруго поскрипел камусными лыжами по засыпанной лыжне, продолжая материть росомаху, снявшую двенадцать соболей. Трех из них Павел нашел – обожравшаяся «подруга» наделала захоронок. По дороге он насторожил несколько больших капканов. Через день Паша был дома, правда, дорога дала прикурить. Выезжал он с санями, привязав к ним еще и нарточку. Реку завалило пухляком, да еще вода страшная под снегом, и пришлось бросить нарточку, потом сани, а потом напротив деревни и «буран», и прийти домой пешком.

Под праздники подморозило. 25-го числа выехавший днем позже Коля Толмачев зашел к Павлу. Были они не близкие, но хорошие приятели, приятельство это больше исходило от Паши, общение с которым грозило тягучей пьянкой. Остальные охотники Пашу тоже остерегались, хоть и любили, а он, кажется, все понимал и пил с другими.

Коля постучал, ответила Рая. Он вошел: поджатые губы, напряженная неподвижность в глазах. Хуже нет. Вроде и ни при чем, а все равно виноват одним тем, что тоже мужик – «из той же стаи», как говорит Паша. На столе тарелка с недоеденной закуской. Стопка с остатками водки, водку Рая брезгливо выплеснула в раковину.

– Пашка дома?

Рая продолжала нарочито порывисто, подаваясь всем телом, вытирать со стола, свозя складками клеенку и качая стол. Молча кивула в комнаты, мол, полюбуйся.

Паша лежал в броднях на диване, на боку – подобрал согнутые в коленях ноги – одна рука под головой, ладонь другой меж коленок. Приоткрытые губы влажные и по-поросычму вытянуты. Дыхание тяжелое, прерывистое. Замычал, забормотал, потер ногу о ногу и засопел на другой ноте.

– Хотела бродни с него снять – лягается.

Коля пошел домой. Вечером примчался пьяный и бородатый Пашка на «буране». Борода ему шла.

– Ты че сесть-то вздумал? – тыкнул Коля на седой клок.

– Серебро бобра не портит! – отрезал Пашка. – Ну, поехали!

Раи дома не было. Не успели сесть, как пришла: ледяное лицо, металл в голосе, но все-таки гость – и она собрала на стол, вернулись знакомые закуски. Пашка достал бутылку, какую-то свою любимую, пластмассовую, от редкой водки, достал втихоря, хотя ясно, что предосторожность лишняя. Рая ушла в другую комнату. Пашка было повеселел, но она вскоре вернулась, наряженная и покрашенная, и твердо села за стол. На лице улыбка и выражение решимости. Черная кофта с низким воротом. Подведенные глаза, ярко-малиновые губы, запах духов. Пашка поставил две стопки.

– А мне? – громко спросила Рая, подняв брови и напряженно улыбаясь. Пашка удивился, обрадовался. У Коли отлегло. Рая подняла стопку, встряхнув головой, откинула крашенные каштановые волосы – расчесанные на прямой пробор, они засыпали скулы. Когда улыбалась, крепко округлялись щеки и белел ровный ряд верхних зубов. Пашка закричал:

– Колек! Давай! Я тебе выдерьгу не показывал?

– Че попало, – мотнула головой Рая, закусывая красной капусткой.

– Че за выдерьга?

– Да выдра, «бураном» задавил, – раздраженно объяснила Рая.

Коле хотелось поговорить про охоту, но разговора не получалось, Паша был пьяноват, про выдру забыл и орал одну и ту же частушку:

На горе стоит избушка,
Красной глиной мазана!
Там сидит моя подружка —
За ногу привязана!

Пашка еще по осени придумал себе новое выражение – когда у него собирались, он заставлял кого-нибудь из гостей наливать, говоря:

– Ну угощай, Коля!

Получалась игра, новый оттенок гостеприимства: вроде водка Пашина, а он так уважает гостя, что уступает ему хозяйское право. Вдобавок и перед Раей выходило, что он выпивает теперь, чтоб не обидеть разливающего. Выражение моментально, распространилось по деревне.

Рая улыбалась, вываливая грибы, Пашка кричал:

– Ну, угощай, Коля!

Коля зачем-то встал, Рая включила магнитофон и, проходя к холодильнику, взяла его за локти и, описав круг по кухне, выкрикнула, косясь на Пашу:

– Сейчас пойду вот и Толмачеву отдамся! – Пашка только зло хмыкнул, поднял брови и пожал плечами. «Ну, попал», – подумал Коля.

У Паши шла сейчас полоса куража, и главное было продержаться в ней подольше, не перебрать, иначе грозит упадок – будет сидеть свесив голову, клевать носом, но на вопрос «Спать, может, лягнешь?» бодро вскинется: «Нет!» Пошумит, поспорит и снова книзу носом. Тут, главное, его увалить решительной серией рюмок, иначе так и будет колобродить – ни два, ни полтора. Если удастся – уснет мертвым сном до утра – хоть кол на голове теши.

Пашка налил:

– На горе стоит избушка! Угощай, Коля!

– Частушку эту чепопалощную заладил... – Рая поджала губы и помотала головой.

– Давай, братка! Ну а ты че моя! – гнул Пашка. Рая держала стопку и говорила обращаясь только к Коле:

– Господи! Вот он три дня как приехал, ни посмотрел на меня даже, ни обнял ни разу! Только водка одна на уме! – Она закусил губу, подбородок задрожал, взялся мелкой ямкой.

– Толь-ко вод-ка, – повторила она низким, рыдающим голосом. Потом собралась – опрокинула рюмку, запила водой. Шмыгнула носом, вытерла слезы и сказала трезво:

– Извини, Коля.

Пашка было повесил голову, но тут раздались по-морозному шумные и скрипучие шаги и громкий стук с дверь.

– Да! – рявкнул Паша.

Ввалились двое: Генка Мамай (кличка) и Петька Гарбуз (фамилия). Мамай – крепкий, рыжий мужик, веки в веснушках, синие глаза, волосы жесткие и плотные, зачесанные набок и стоящие упругой волной. Гарбуз – толстый малиноворожий Пашкин сосед.

Пашка орал от радости:

– От нюховитые! И ведь как знают, когда Пашка гудит!

– Ты скажи, когда он не гудит! – сочно бросил Мамай, протягивая Рае мороженную сохачью печенку в газете:

– Шоколадку построгай-ка нам, хозяйка.

Пашке нравилось все, даже то, что зашел Генка – они всю жизнь друг друга недолюбливали. Прошлой зимой Пашка не дал Генке поршень от «бурана», у него его просто не было, а тот не поверил, сказал, что Пашка «зажался», и полгода с ним не здоровался. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если б однажды ночью, во время погрузки на теплоход, у Генки не намоталась на винт веревка, и Пашка не дотащил его до берега. Теперь они общались, но Мамай на Пашку затаил еще больше зуб, и теперь оба находили свой шик, что вместе пьют, хотя война подтекстов продолжалась. Вообще, Мамай всех всегда подозревал. Напившись, ни с того ни с сего, вперившись в товарища, грозил неверным пальцем и, пронизательно щуря глаз, тянул: «Не на-адо! Я зна-а-ю! Я сра-азу по-о-нял!»

Гости сели. Рая достала тарелки:

– Пилимени берите!

Пашка особо не ел, пил, экономя силы, расчетливо оставляя половинки, да и те заталкивал, давясь. Мамай жажал мимоходом, не меняя выраженья лица. Гарбуз сидел, как тумба, подносил ко рту, резко плескал туда, ставил стопку и делал ладонью возле открытого рта проветривающее движение. Мамай не умолкал, плел про дорогу – он куда-то ездил:

– ...заберегу проморозило, как втопил по ней – только шуба заворачивается! Ну давайте!

– Шуба вон отворачивается, – сострил Гарбуз, отрывисто захохотав, поставив пустой стопарь, потрепыхав ладонью у рта, и кивая на Пашку – Пашина фамилия была Шубенков – того аж передернуло от вида полновесного стопаря спирта, исчезнувшего в гарбузовой пасти.

– Сейчас начальника видел, – сменил тему Мамай, – рожа – хоть прикуривай. Опять забыченный.

Разговор заварился вокруг недавно выбранного начальника, который втихоря продал излишки солярки на самоходку, а на деньги слетал на родину под Ростов.

– Сами выбрали, сами и виноваты, – хмыкнула Рая.

– Ясно, сами... А он раз пошел, раз доверили – значит, обязан человеком быть. У него совести нет, а я виноват. Х-хе! Интересно у вас выходит!

– Кому стореть – тот не утонет! – кричал Паша. – Каждому свое! – Разговор ему не нравился. – Лучше слушайте историю, по рации слышал. Мужик в тайге сидит, а к нему брат сродный из города приехал. Пошел к нему на участок, а тайги не знает добром. Приходит весь искусанный. Че такое? Кто тебя? Да собачка, грит, какая-то в капкан попала по дороге, пока выпускал – перекусила всего! – все, кроме Лиды, захохотали: мужик отпустил росомаху.

– Я эту историю в книжке читал, – сказал Коля.

– Да ты че?! – удивился Пашка и перевел разговор на печенку, мол, хороша, а ведь у него в брошенной по дороге нарте тоже есть.

– Хозяин... – презрительно хмыкнула Рая, – чужим закусывает, а свое в нарте. Ее уж, поди, собаки съели. Че надулся, как мезгирь? Так и есть оно!

Пашка вдруг засобирился назавтра ехать за нартой, норовил затащить в избу и поставить к печке канистру с бензином – развести масло в ведре он уже был не в состоянии, надо на двор идти, мешать. Возмущенная Рая ругала его за эту канистру, грозила выкинуть, тот уперся, как бык, – показывал мужикам, кто хозяин. Мужики глядели в тарелки, было неудобно. Паша принес масло в банке. Канистра была налита подзавязку, масло не влезло, и бензин вылился, Паша отлил в другую банку, чуть ее не опрокинул. Рая заругалась, что банка от молока. Мужикам надоело бычиться, они уже хохотали:

– Развел вонизьму – Райку, поди, выживашь!

– Нас-то не выживешь!

– Водку-то не льет так!

– Она его духами, а он ее бензином!

Колька, еще посидев, решительно поднялся и ушел. Мороз жал за сорок. Обильно и мощно глядели звезды. Пар изо рта шел густой, гулкий. Укатанная улица – в поперечную

насечку от снегоходных гусениц. Дымки еле шевелятся, поднимаются вертикально, расширяясь, как кульки – у трубы тонко, выше – шире. Вся деревня в кульках. Шел, думал про Пашку: че ему надо – баба ведь и работающая, и добрая, и ладная. Не поймешь его. В деревне пьет, к бабе ни ногой, а в тайге – переживает, ревнует. Слышал по рации – Паша назначил Рае время выйти на связь, она не смогла, а когда вышла наутро, Паша несколько раз спросил ее жалким и безнадежным голосом: «Где ты была?» Дети у них не заводились. Надо было обоим ехать обследоваться, но не хватало денег, с охотой у Паши обстояло неважно.

Вечером Коля в полусне смотрел телевизор. «И правильно, что ушел, – подумал он, – не поговорить толком, ничего. Спать надо, а завтра за пушнину братья». Часов в двенадцатом раздался негромкий стук в дверь. Коля удивился: «обычно так тарабанят, что дохлого разбудят». Кто бы это? Он открыл: на крыльце стояла Рая.

– Можно к тебе? – На лице странная улыбка.

– Заходи...

Уселась на диван, накрашенная, остро благоухающая.

– Н-ну? – с вызывающей улыбкой уставилась в глаза.

Колька аж вспотел. Надо было сразу не пустить, выгнать или сказать, что в клуб собрался, а он, наоборот, вышел, демонстративно сонный, рубаха навыпуск.

– Ты че гостю-то так встречаешь?

– Чаю, может? – ответил Коля, увязая и протягивая время, лихорадочно думая, что делать, как ее сплавить, не нарушив этикету.

– Ну что?

– Что?

– Иди дверь заложи!

– Щас!

– Да вы че дураки-то такие!

– Да ниче, – раздражаясь, резанул Коля, чувствуя ненатуральность этого раздражения, – у нас знаешь как?

– Как?

– Жена товарища – все. – Коля и вправду считал, что оно себе дороже.

– Ты гляди какой!

Коля встал, сделал движенье к одежде, мол, пошли:

– Иди, я никуда не пойду... К тебе раз в жизни в гости пришла...

– Ты сдурела.

– Я что – не красивая? Что же за мужики-то такие?

– Да я бы с удовольствием, да ты такая женщина, – решил зайти с другого бока Коля, – но Пашка.

– Что Пашка? Пашка в три дырки сопит!

– Когда отсопит, я ему как в глаза посмотрю?

– Ой не смейся! Водка-то есть у тебя? Угощай, Коля!

И вдруг заревела:

– Ведь ты подумай, Коля, вот он три дня как из лесу – ничего не сделано, думала, хоть мужик приедет – помощь будет. Нет. Водка. Водка. Водка. Ой, да че за жизнь-то за такая? Собрался в больницу ехать, сейчас деньги пропьет, еще россомаха его разорила, опять никуда... Давай выпьем, Коля.

Коля расслабился – сейчас выпьем по-товарищески, да спроважу ее.

– Коля, рыба есть у тебя?

Коля вышел в сени, погрохотал мороженными седыми ленками, порубил одного на строганину. Когда вошел с дымящейся грудой на тарелке, Рая, чуть отвалясь меловым торсом, сидела в черном бюстгальтере на диване. Бретельки сброшены с плеч. Литая грудь вздувается

невыносимым изгибом, двумя белыми волнами уходит под черное кружево. Ткань чуть прикасается, еле держится на больших заострившихся сосках. Волосы рассыпаны вдоль щек, в улыбке торжество, темные глаза сияют, ножка постукивает по полу. Коля на секунду замер, а потом ломанулся в сени и заложил дверь.

Уже потом спросил:

– А тебе можно сегодня?

А она со спокойной горечью ответила:

– Мне всегда можно.

И его как обожгло: «Что горожу – у них же с детьми беда».

Рая глотнула чаю, прищурилась:

– А я думала, ты более стойкий. Вот какие вы. Охотнички...

Коля с самого начала ненавидел себя за свою слабость, теперь стало еще гаже. Хотелось, чтоб она быстрее ушла:

– Не пора тебе? – осторожно спросил.

– Не волнуйся, он до утра теперь. Полежи со мной.

К Рае он чувствовал только жалость. Главное, было чувство, что влез в чужую жизнь – не должен он этого ничего знать, ни этого кусающегося рта, ни большого родимого пятна на внутренней стороне бедра. Рая засопела, он начал тоже придремывать. Перед глазами побежала освещенная фарой бурановская дорога. Потом приснилось, как они с Пашкой гоняют сохатого, и вроде Пашка уже стреляет, палит и палит, негромко так и назойливо. Потом еще какой-то стук раздался. Пашка вскочил. В дверь колотили:

– Шубенковы горят!

– Какие Шубенковы? – встрепенулась Рая. Треск продолжался. «Шифер лопается», – сообразил Коля, накидывая фуфайку.

Было сорок восемь градусов мороза. Зарево стояло столбом над деревней, и казалось, горит гораздо ближе. Пашкин дом пылал костром, жар такой, что не подступиться на пятнадцать метров. Вокруг толпа, мужики тащили из бани стиральную машинку, сосед, толстый Петька Гарбуз, стоял на границе участков в трусах и валенках, накинув порлушубок. Откуда-то вынырнула с безумными глазами Рая. Все было обрадовались: значит, были в гостях, значит, и Пашка сзади плетется: «Пашка где?» Кричала не своим голосом, хрипло и негромко.

Рухнула крыша, стали растаскивать стены, тушить снегом, прошли к дивану – на нем ничего, Колька порылся кочергой рядом, наткнулся на что-то мягкое, Гарбуз ушел в своих трусах, схватившись за горло.

Прилетел милиционер с пожарным экспертом. На пепелище не нашли карабин, кто-то считал, что Пашку убили, а потом подожгли дом, кто-то подозревал Мамай, который, кстати, тут же подал заявление на Пашиных охотничий участок. Коля считал, что дело связано с канистрами, нагрелся бензин, его и выдавило. Мамай на поминках оказался рядом с Колей, шурился: «Я-то зна-а-ю, где Райка была!» Коля наклонился и тихо сказал: «Видишь вон ту бутылку – сейчас я ее об твою башку расшибу!»

На поминки у сестры Паши заходили кучками человек по двенадцать, выпивали, говорили что-то малозначащее и уходили, чтоб дать место другим. Порой забредал кто-нибудь из пропащих, бичик-пьянчужка – кому горе, а ему везенье.

– Ладно, давайте, как говорится, чтоб земля пухом...

Выпили. Говорили негромко, друг другу – мол, Саша, кутью бери. Коля, морс передай. Потом как-то прорвало, ожили. Начал Быня:

– Еду. Че такое – нарта стоит...

Снова вспомнили тяжелую Пашину дорогу и брошенные по очереди нарту, сани и «буран».

– Будто держало его что-то! – с силой сказал Быня и повторял несколько: «Грю, прям будто что-то держало!» Выражение пришлось, потом не раз повторялось.

Колю в жар бросало от мысли, что, если б вышвырнул ее, как собаку, или отвел бы домой – ничего бы не было: ни этого зарева, ни остального. Как ни гнал от себя, снова всплывало это «если бы», дразня безобидностью начала и убивая непоправимостью совершившегося, ужасающим контрастом между минутным и все равно отравленным удовольствием и непосильной расплатой. И всего страшней было, что чуял, а поддался, не устоял – нет ему прощения.

В начале января Коля поехал в тайгу – запускать Пашин участок, перед собой хоть чуточку легче, а главное, Рае сейчас пушнина нужна. Уезжал хорошо, да все скомкала сучка. Собак, которые по такому снегу лишь обуза, да и ждать их заколешь останавливаться, он привязал, сосед покормит. Кобеля посадил на цепь, а Муху, небольшую угольно-черную сучку, на веревку, но та отгрызлась и догнала Колю, когда он остановился у Камней заменить свечу. «Отъелась, падла. Надо было на тросик посадить, искать поленился. – Коля выматерился. – То свеча, то сучка!» Взаяся гнать, отбежала, села, пальнул над ушами, наоборот, заозиралась – где добыча – в конце концов махнул рукой и поехал.

В тайге настроение не то что улучшилось – просто остальное отошло, загордилось привычной обстановкой ловушек, ожиданьем висящего припорошенного соболя. Спустился в ручей и долго искал затеси, найдя и поднявшись, увидел большую кулемку с попавшим сободем, обрадовался, ринулся, почти поравнялся с ловушкой, и нога вдруг сорвалась, как в пустоту, – лопнула юкса (сыромятное крепление). Сучка семенила сзади, все стремясь его обогнать, но, обогнав, плелась под носом, и Коля спотыкался об нее лыжами. Сейчас, воспользовавшись неполадкой, она, жарко дыша, ломанулась вперед. Коля раздраженно крикнул: «Куда?!» Сучка остановилась, обернулась, Коля было хотел кинуть в нее лопатку, как вдруг замер, увидя на черном фоне Мухиной спины нечто тонкое, белое – неестественно прямое для тайги. Он заводил глазами. Слева нитка тянулось к засыпанному снегом ружью, справа к кулемке.

«Сделал-то все по уму», – отметил Коля, разбирая самострел: к прикладу снизу поперек был привязан настороженный капкан, сжатая пружина соединена петелькой со спуском ружья, а нитка тянется от тарелочки к крыше кулемки: росوماха добирается к приваде, разбирая крышу. В стволе картечь. «Как раз бы по одному месту, – мрачно бросил Коля, – знал, куда целить».

– На горе стоит избушка... – Ясно, про какую он подружку пел. Шел дальше, потрясенный – ведь не сучка – кранты, да еще б промучился неизвестно сколько. Ведь чуть не убил ее, прогнать хотел, собака на хрен не нужна сейчас. Ведь неправильно все сделал. Цепь найти поленился – неправильно. Сучку не прогнал – неправильно. Юксы вчера хотел проверить, плюнул тоже неправильно. Где правда? Брел по путику, подавленный, вроде бы спасшийся, но почти неживой под убийственным нагромождением случайностей. Как жить? Чему и во что верить? И наваливалась воспоминаниями беспорядочная, полная суеты, жизнь: снова вставало главное – ведь все неправильно делал, и из-за этого спасся.

В капкан попал сободем, но нескладно, головой под пружину. Проще было разобрать капкан в избушке, и Коля полез в карман – там с деревни болтались пассатижки. Достав, узнал: Пашкины. И прежде всех соображений стрельнуло низовое, практическое – отдавать не надо. И тут же сморщился: че говорю – жизнь отнял, жену – почти, а тут пассатижи – смотри-ка, прибавка!

И от этой несоизмеримости – будто током прошло: – Ведь, значит, простил! Значит, есть! От дур-рак! Лежал бы с простреленными ляжками. Значит, есть Он, есть, есть! – и все никак не мог успокоиться: так стремительно сложилось и выстроилось в неслучайное все казавшееся случайным.

Сучка облаила глухаря. Он сидел в небольшой кривой кедре, вверху, где выгнутые ветви образовывали растрепанную чашу, и водил матово-черной шеей над крупными кистями хвои. Голова плоско переходила в клюв, снизу отвисала бородка. Коля приложился из тозовки, но затвор замерз и давал осечку за осечкой. Коля отошел в сторону, отодрал от лопнутой березы кусок коры – с краю береста была грубой, а дальше делилась на нежные розоватые полоски. Она загорелась, чадя и скручиваясь. Прогрев над ней затвор, Коля убил глухаря. Тот упал камнем и лежал, растопырив крыло, пока его свирепо трепала сучка.

Избушка казалось вся пропитана Пашиным присутствием, стояла недомытая чашка – так домой торопился, суп в кастрюле. Запись в тетрадке: «22 декабря. Ушел на Гикке. Сверху прошла росомаха. Подруга, ты затомила, быть тебе у меня на пялке».

Все у избушки было засыпано, будто облито снегом. Затопив, Коля вышел с ведром на реку, глянул вдаль: желтое небо, плоские серые облака, плоская сопка, торосы в наплывах снега, белый лес. Раскопал, продолбил последнюю наледь – топор, как воском, взялся ледком, набрал кружкой воды. Сопя, поднимался с обмороженным, облепленным снегом ведром, широченные камусные лыжи пружинисто прогибались, с мягким скрипом вминая еще податливую лыжню. В избушке, жуя замороженную древесину, трещала печка-полубочка, на нарах – ведро с крупным крошевом льда, в углу – грубо наколотые, изваленные в снегу дрова. На печке таз для Мухи, там тоже вода со льдышками, сухая горка комбикорма. Коля достал с лабаза и порубил рыбину, кинул в таз морозные кругляши, медленно и с силой перемешал. Оттаял топорик – мокро засинело лезвие. Коля заправил лампы, солярка во фляге была густая, как кисель, сыто наполненные бачки мгновенно стали обжигающе-ледяными. Вечером сходил, принес еще пару чурок. Вышла тонкая, заваленная на спину, луна, на реке белели торосы. Светилось будто игрушечное окно с лампами, горели звезды и медленно летела из трубы искра. И вспомнилось Бынино «будто его держало» – раньше эти слова раздражали своей расхожестью, соблазнительностью, а теперь казалось, и впрямь: не пускала, упругой силой держала Пашу за сердце чистая таежная жизнь, а он все не слушал ее, продирался сквозь тугой морозный воздух, бросая по пути лишнее...

«Всегда странно на чужом участке, в чужих избушках, – думал Коля, – с одной стороны, интересно, что как сделано – у каждого все по-своему, а с другой – будто вторгаешься в чью-то тайну, через это окно – будто Пашиными глазами на жизнь глядишь». Вот кружка его, вот спальник, полотенце, банка с бычками, которые не выкидываются, берегутся, какие-то приспособленьица, жомы для лыж, правилки. И достанется все это Мамаю. И как-то больно, боязно было за весь этот Пашин быт, в который так грубо вмешается его не уважавший человек, все переделает по-своему, наверняка что-нибудь выкинет, упразднит, постарается все заменить своим, чтоб и не напоминало о прежнем хозяине. Позывной, наверно, оставит, и будет вместо Пашкиного привычного голоса – другой, густой, самодовольный. Позывной у Паши был Экстакан и мужики его всячески обыгрывали: «Эх, стакан!» или «Экстакан – налей стакан!»

– Надо будет весной поехать – вещи Пашкины вывезти. – Коля включил рацию, крикнул товарища. Тот не мог разобрать, спросил: «Кто Аяхту зовет?» – и Коля вдруг замешкался, крикнул:

– Экстакан! То есть Тундровая! – и улыбнулся невесело, но благодарно на слова:

– Здорово, Коля, понял, все понял! Не объясняй!

...В апреле Коля поехал за Пашкиными вещами. У десятиверстной избушки стоял гарбузовский «буран», Гарбуз махал от избушки. Коля поднялся. Гарбуз достал бутылку:

– Давай, Колек, на дорожку.

Посидели, поговорили.

– Да, ты слыхал новость-то? – оживился Гарбуз. – Только между нами. Баба моя сказала. Она с Райкой Шубенковой кентуется – Райка-то беременная! Вот Пашка-то не дожил.

Стояла ясная погода – солнце, северный ветер, мороз с ночи особенно жгучий. Коля ехал по Пашиному участку рекой. Снег, если глянуть против солнца, блестел, как слюда. Надо было объехать тайгой скалистый участок, и Коля бил дорогу хребтом по пихтовым косогорам, долго возился с заездом, увяз, не мог выгнать «буран» из ямы, отаптывал, пробивался вверх по склону, сбивался с затесей, утонувших в снегу, рубил упавшие деревья, ветки. Возвращался за санями. Потом оторвалась втулка от «паука» вариатора, и он кумекал, как его притянуть, и пилил напильником зацепы, продолжая еще о чем-то напряженно думать, а когда уже притягивал «паук» шайбой, вдруг облегченно вздохнул:

– Ведь если Пелагея, то это тоже Паша...

И снова ехал рекой, и у избушки снова возился с заездом, а в одном очень порожистом месте, где середка реки была провалена и висела единственная перемычка для переезда – и та показалась ненадежной – свалил и пробросил четыре елки.

Ехал дальше – собачья шапка, черные очки, на шее поперек карабин... Ехал и ехал, и свистел северный ветер, и казалось, нет ничего важнее этой пробитой дороги, и не верилось, не думалось, что через неделю все заметет, через две – промоет, а через месяц и вовсе унесет в весеннюю даль с сумасшедшим потоком льда. И ни о чем не думалось, кроме этой дороги, и она застывала крепко – будто на века.

Не в своей шкуре

1. Пять кедров

Жили-были пять братьев. Пять братьев – пять пальцев. Пять братьев – пять кедров. У кедров статья крупная, мясистая: и иголки, и ветки, и шишки – налитые, с запасом и щедростью сложенные. Но если кедр хрупковат и уступает по гибкости и крепости елке и лиственнице, то братьев не сломать, не угнуть. Не зря и фамилия у них старинная – Долговы, и идут они от Аввакумовского смоляного корня. Самый младший – Федор, но о нем напоследок.

За Федором по старшинству Нефед. Вроде как не-Федор, почему – потом поймете. В Нефедке кедровая статья самая сильная, он хоть и не столь рослый, как Федя, но крепко и крупно нарублен. Густой замес. У волос, бороды двухвостой, усищ нависающих – ость толстая, обильная, масть темно-каштановая в рыжину. Глаза карие и веки особенно крупны и в карих точечках – будто йод со смолой навели и кедровой кистью покропили для верности. Для подтверждения плодородия его глинно-черноземной стати. Все подходит для сравнения – и смола, и чернозем. . . Или конский ряд: как у коня – грива темней тулова, борода темней волос. Постав глаз широкий, и сам Нефед квадратный, коротконогий, кормастый. Но дело скорее в стати душевной – Нефед полняком помешанный на корабельном деле. Живет на боковой речке, и там у него верфишка своя. Заказывает листовое железо, сам режет, кроит, сам варит тридцатитонные баржонки, на которые ставит дизеля, все рассчитывает: водомет ли, винт, редуктор. Устройство одно: головастая рубка спереди, а за ней грузовой отсек длиннющий, до самой кормы. Забран жестяным в волну навесом, сдвижным, в виде «П» в разрезе. Навес ниже рубки, но выше палубы – тоже участвует в силуэте. Нефед делает на заказ, на продажу. В рубке малиновые диван и обшивка, японские сиденья и руль – хоть кожа. И мотор любой. Как карман позволит. Железо берет с завода. Раньше староверы везли почему-то железо гофрированное, как шифер, видимо, какой-то канал подешевле был. И шли баржонки с грубо сваренным шиферным носом, который угловато стыковался с шиферными же бортами, и корпус был в ломаную линию. Теперь металл путный, гладкий, загнут породисто в скулах и отделка под самый рояль-салон.

У Нефедки баржа и он на ней возит по Енисею горючее, а зимой еще и на бензовозе по зимнику работает. Дорожная душа.

Следующий брат – Гурьян, тот промысловик. Ни о чем не может говорить – только о тайге и о промысле: «Это мое. Мне как осень – уже в тайгу наа. Оно в крови». *Завод* у него доскональнейший, и кулемник (а был и плашник), и капканы на земле, на жерди. И обязательно очепы – жердь наподобие журавля, которая вздергивает капкан с добычей, чтоб россомаха с лисой не схрямкали. Но если у капкана на полу очеп не редкость, то очепá на жердушках, прибитых к дереву – только у Гурьяна. Спросите, как на такой высоте очепá ладил? Не поверите – таскал по путикам лесенку. В тайгу задолго до снега попадал.

На вид Гурьян – с того же лекала, что и Нефед, но поровней, посветлей, и настоек смолы пожиже, попривычней. Поначалу не знающие близко, путают братьев. Но даже, когда разберешься, странно. Бывает, увидит человек впервой Гурьяна, а потом где-нибудь встретит и вздрогнет: идет вроде Гурьян, да только какой-то густой, набрякший, дико расширившийся, потемневший, и недоумение: то ли сам плохо запомнил – невнимательный, то ли с Гурьяном что-то стряслось – пчелы покусали или отъелся и в дегте измазался. Дивишься, вроде уже видел черты, а тут они выперли, сгустились, укрупнились. Будто два живописца один образ писали – каждый по-своему, один поспешил, другой пощедрился. «Здорово, Гурьян!» Молчит. Оказывается – Нефед.

Промышляет Гурьян с сыновьями. Те тоже, Гурьян да не Гурьян, пачка копий. Вроде отец, только поуже, и лица посвежей-порозовой, и бородки помшистей. А вообще, по портрету Гурьян самый канонический, знакомый: прямое скуластое лицо, брови белые, борода русая, ость витая, крепкая, верхний слой светлей. Глаза серые.

Следующий брат – Иван. Тому к шестидесяти, черты долговские, но только подсушенный, подсутуленный, зубы с проредью, борода поклочковатей, серо-русовая с сединой. Иван – крестьянин. Живет по реке к югу, где заливные луга. Взял землю, держит скота – коров, бычков, ставит сена горы и поставляет дельцам и частникам молоко, сметану, творог, мясо. Пчел держит. В движениях порывистый по-мальчишески. Иссушенный покосным солнцем, прокопченный дымокурами, изможденный страдой, переживаниями... (То прессподборщик веревку рвет, то завидущее бичье нетель отравили, то еще что-то...) Но влюбленный в землю, как и положено русскому крестьянину. Он хоть и как пол-Нефед повдоль, а зато сыновей у него семеро. Все помощники. Осенью на луговине стын, свинцовое небо с запада, ветер с каплями... И вдруг солнышко боковое... И тюки, ярко освещенные – как рулеты лежат. И Иван в белой почти энцефалитке щурится от солнца и кричит сыну, который на тракторе на гребь едет: «На кули-и-гу езжай! На кулигу! Там сперва вороши!»

Дальше брат Григорий идет. Тому к семидесяти, белый, неспешный, и лет восемь живет в старообрядческом монастыре за Дубчесом. Как зачарованно говорят про него в деревнях несильно сведущие в вере: «На чистую вышел». Человек уважаемый, в монастыре «наставничат».

Для усвоения материала можно запомнить так: по светлению масти и сходу кряжеватости – Нефед-корабельщик, Гурьян-охотник, Иван-крестьянин, Григорий-наставник. С Григория, правда, снова на крепость идет.

Четырех братьев назвал, а пятого не только не забыл, а на самый рассказ и оставил. Федор. Самый молодой, самый статный. Широкое розовое лицо, так же фамильная бородаща, только совсем уже лопатой широченной двукрылой, усы старинно-армейские, в сторону торчат остроконечно, как проклеенные. Глаза синие. Бровь темная.

По виду должен вобрать самое могучее и лучшее долговское. А на самом деле настолько другой, что семью смело можно поделить на две кости: Братовья и Федор. Помимо верности вере братовьев объединяет страсть к любимому делу. А Федору не дал Бог кровного ремесла, либо давал, да тот не взял. И вроде работающий мужик, но ничего ему не интересно, кроме денег: будет соболев в цене – на тайгу все силы бросит, рыба подлетит – в рыбалку уйдет, скажут извоз в цене – груза возить будет, а сварочные работы – в сварщики подается. И главное, какое не будь дело – а видно разницу меж Федором и тем, для кого дело – единственное. Вроде и впрягается Федор – а все не с головой. Не безоглядно.

Соберутся Братовья, о работе говорят, кто какой корабль сварил, зимовье срубил, грабли освоил. А у Федора одно: «А сколь стоит? Сколь заработал? Сколь платят?» Жены уже смеются. У автора сих строк даже раз спросил: «По сколь нынче рассказы отходят?» И еще удивленно и строго покосился, по-беркутячьи – брови темные... Мол, мало че-то, врешь, поди: «Да ну-у... Не поверю... Прибедняшься». И с таким видом, что сам бы занялся, если че. А Иванова жена, язва: «Слышь, Федя. В городе нынче комара сушеного принимают: по пять тыш за кило. Вон Ульянов Угренинов на машину насадал, «крузера».

Нахмурится, наклонит голову, глянет из-под брови орлино, и допросит: как звать «приемшыка», какой номер телефона, на чем ездит. Потом и сам засмеется, но так, в пол-улыбки, и о своем нахмурится. Ехали с ним на автобусе в город – все заправки изгладел: здесь девяносто второй столько-то стоит, здесь меньше, солярка столько-то, там столько-то.

Братовья и бьются за заработок, но не так как-то. К примеру, понятно, что ловушками охват больше, и собаки от насторожки отвлекают, но Гурьян скажет: «Да я себе не представляю, как вот с собачкой не побегать по осени!»

Федя норовил ввязаться в дело, пусть и скользковатое, но сулящее барыш. Узнал, что на одной речке лежит емкость пятнадцатикубовая от солярки на берегу – наследство от экспедиции. Нефеду железо нужно, Федя и говорит: «Железо тебе устрою недорого, ты подъедь на своей «лайбе» на такую-то речку к такому-то месту, загрузим тебе железа».

– Отколь? Как?

– Да так – емкость.

– Дак это ж Степана Густомесова участок, он, поди, на нее виды имеет.

– Да не, я договорился с ним.

Помощников нанял парней. Взяли болгарки, генератор, поехали, распилили емкость, загрузили на Нефеду. А потом столько позора было! И Степан, и все мужики с той речки видеть не хотели никого из долговских, «росомах этих». Густомесовы и Большаковы с тех пор, завидя любую похожую посудину, выскакивали на берег и орали лихоматом, кажа кулаки. Степан эту емкость собирался утащить вездеходом и оборудовать под избу, утеплив снутри и врезав дверь на болтах, от медведя.

История с емкостью не остудила Федора. По складу он был рыскающий, как соболь, напористо заводил знакомства, и к людям относился с точки поживы. Тянулся к успевающим, состоятельным, аккуратно записывал телефоны. Первым из братьев карманный телефон завел. Все совал в карман энцефалитки, нагнется к лодке за веревкой – и тот бульк из кармана в воду. «Два штуки утопил», пока не научился с «имя обращаться». Звонил. Поддерживал знакомства, снабжал рыбой, не спрашивая. Как по разнарядке.

Эффектный. Приезжие, особенно журналисты или москвичи, рыщущие смысла, на него клевали, и он в отличие от остальных собратьев-старообрядцев не сторонился, а в гости приглашал и проявлял «угостительность». Водка не разрешалась, поэтому угощал брагой и резчайшим домашним пивом, подымая кружку с богатырским: «Держите!» Не «давайте!» непонятное, а именно «Держите!» Это «держите» особо нравилось заезжим, они его потом сами повторяли, оно было как слоеное: и кружку, и удар держи – не хмелей. Журналистка «с Москвы»: «А вы слышали что новозыбковцы ведут переговоры с часовенными?» Федор: «Не слышали. Держите! Как бражка?» – «Хороша!» – «Вот и отец наш говорил: хороша бражка да мала чашка!» Конечно, и фотографировался с гостями. И даже одна его фотография висела в городе на щите на Металлургов с надписью: «Сибирь – территория силы». Орлино глядя вдаль, Федор ехал на моторе на фоне скал, и ветер развевал, забрасывал набок огромную его бороду. Авторы плаката повернули фотографию наизнанку для пушей композиции с округой, и выходило, что Федор – левша и «под ево» специальный мотор собрали: рукоять газа торчала не с той стороны. Наподобие как излаживают под левшу гитару или скрипку.

Федя, в отличие от Братовьев, к вере предков относился расслабленно, за что и имел серьезные с ними беседы. Дошло, что, когда те собирались, за свой стол не садили, а ставили гостевой буквой «Т» к ихнему. Там Федя и сидел вместе с гостями. Как мирской. А упрекали за излишнюю рыскливость: «Из-за таких, как ты, нас «мохнорылыми» зовут, – возмущенно выговаривал промысловый Гурьян, – ты маленько за ум-то берись. А то по тебе и о нас судят».

Хотя при городских Федя, наоборот, форсил, и подыгрывал, и про «нашу веру старинную» вещал именно то, что хотели слышать. И сам в свои слова верил, и, бывало, мог расчувствоваться, особенно, если много «держать» доводилось.

Но больше было будней.

Слышал Федя о растаскивании буровых «апосля пучи» в конце века. Сам однажды осенью в тайге заворожено глядел, как пер «ми-двадцать шестой» огромную запчасть от буровой, двигатель вроде, и как неделю гремели с востока, еще что-то тащили воздухом, штанги какие-то, и как накатывало возмущение и как обсуждал с мужиками по рации. Потом разговор надолго затих, и вдруг кто-то из дельцов заговорил про брошенные в тайге буровые,

мол, заплачу за разведку огромно, и Федор взялся разузнать. Нашел экспедишника, бурового мастера Трошу, обузившего пол-Эвенкии и знавшего все точки.

Буровые находились далеко на северо-востоке. Поехали весной по большой воде на здоровенной резинке с водометом, взяв в долю и ее хозяина, поселкового коммерсанта. Пришлось припрячь Нефеда – чтобы на барже завез горючку и их самих по большому притоку до устья речушки, по которой уже карабкались на резинке с водометом. По берегам чахлый листвячок. Река горная, течет меж тундряков и сопок, и то совсем узко и ровно, то вдруг голый скальный бугор подденет русло округлым сливищем, так что забрались с третьего раза, а двоим пришлось вылезти и пройти по берегу. Ехали долго, останавливались на каждом «вроде том» с Тронькиных слов месте, и поднимались на берег, где тянулась голая чавкающая тундра с чахлыми листвяшками. Все нежно-зеленое. Желто-светящееся. За тундрой вставали голые квадратные горы, лилово-синие с плешинами снега.

Находили остатки балков. Полусгнивший барак, истончившиеся пепельные доски в лишайнике, изъеденный чуть не в порошок алюминиевый умывальник. Все нещадно пережеванное тайгой... Что-то трупное было в этих тонущих в сырости останках, будто они не рассыпались постепенно, а разово были захвачены каким-то слепящим ударом.

Зеленые развалившиеся батареи, ящик с огромным количеством Ш-образных металлических пластин, каких-то конденсаторов будто, вроде бы и ценных на вид, а бесполезных. Сгнившие ящики с кернами. Куча снега, студено и роскошно фонащее стужей на фоне яркого и теплого солнца. Бродили, им моримые, в привычной уже полусонности среди останков того, что когда-то было сегодняшним, бодро-трудовым и важным, а теперь неумолимой сырью, как кислотой, съедалось и поглощалось тайгой. Дерево и железо, и даже пластик, все уходило, крепясь, рушась и растворяясь.

Пнув ржавую бочку на утопанной моховой площадке, навек пропитанной солярой, Троня говорил: «Не, эт не то – это от шнадцатой остатка. Надо выше (или ниже) искать».

Возвращались на реку, поднимались с Нефедом до следующего притока, какой-нибудь Эмбенчи или Делингды, и начинали все сначала. Понимали, что хотя буровые и ничьи вроде, но никто не лезет с такими затеями, и чуяли скользкость. И будто для скраса каждый взял водки, и даже Федор, хотя ему как старообрядцу по закону разрешалась только брага и домашнее пиво. И вот ленки здоровенные на пенистом устье Эмбенчей, жгучая водка, сплющенный накось кирпич хлеба, который Пронька отрезал на себя, прижав к груди, толсто и неровно. Луковица, малосольный ленок. Студеная вода из кружки. Белая ночь, такая холодная, что аж колотун берет. Красные баллоны лодки в густой испарине, дрожь в теле. Густейший туман в повороте. Нежная хвоя лиственниц. И снова подъем по речке, и вот уже паркое солнце свозь бус тумана, и усталось, и «поспать бы», но времени нет. И снова по стопке и вроде чуть поддурели и снова восторженные возгласы. Эх, какая речка! Какая красота! И снова брождения по чавкающим тундряками, по пружинистому ернику. И снова мчание по порогам. И Пронькино: «Давай здесь!»

В росистой ярко-зеленой утренней стихии туман сеется, птички поют родниково и перво-зданно в кустах. Крупный первый комар пропищал. Высокий крутой берег и в густых тальниках ползаросшая тропинка, только ноги чувят. Литры росы на штанах, и подъем по тропинке, которая уже и не тропинка, а ржавый ручеек, проложивший руслице. И вот – плоская вершина яра – разлетная даль с тундряком и синими горами – если смотреть за реку, на восток. А если от речки: огромная страшная ржавая буровая, забранная понизу выгнутыми пепельными досками. И будто одушевленная и в грозной обиде за свою ржавость. И словно инопланетная.

И запчасти – растающие в напитанную влагой землю, в мерзлоту, на которой в ямках стоит вода, и угол балка, и фуфайка растерзанная с светлым нутром, бутылка, сапог. Разбросанные, углами уходящие в грунт двушкивники, какие-то фланцы, кожуха, ржавые с остатками

краски – какой-то темно-розовой. Огромные, как раковины, половинки блоков со шпильками и круговым отверстиями. Двигатель ржавый до горящей красноты.

Коммерсант, хозяин лодки, давно уже никуда не поднимался, рыбачил себе вдоль берега. Писали список, фотографировали, припили остатки водки. Шарились потные. Считали роторы, насосы. Троня все бубнил про двушкивники – лебедки. Говорил:

– Пиши! Насос эскабэ-четыре – два штуки. Колодки. Кернорватели. Огловник штанг. Коронки. Баба забивная. Должна быть. Ее нет. Нет, пиши, бабы. Промывочный насос эмб-эвэ-сто двадцать. Так, шпиндель где? Пиши: нет шпинделя. Ну че, все? Наливай.

Наслушался буровых словечек и Федя:

– Держи, Троха. За ход шпинделя.

– Давай! А я смотрю, ты хоть и старовер, а водку глыкаешь. Смотри, твои узнают – быстро тебя на шпиндель возьмут, хе-хе. Держи...

В минуты передыха за бутылкой Тронька целыми главами рассказывал экспедиционную жизнь, анекдоты про разных чудаков, а все больше страсти вокруг поварихи, у которой Троня был в особом почете (следовали подробности). И как на него набросился пьяный помбура и пер, не остановить. Опешивший Троня «размесил» ему губу, но тот продолжал переть, а Троня, когда «хватунул крови», озверел и «убуцкал» бузотера. Об этом «хватунул крови» он сказал с особой силой, как о проявлении какого-то закона, почти с восхищением, как зачарованно говорят о чем-то таинственном, неведомом, природном. Выходило, что и человечье, и звериное поровну царили в мире, и что даже красота была в таком пейзаже и обе стороны завораживали. Коммерсант одобрительно усмехался. Троня рассказал, как помбур в итоге женился на поварихе и дошли слухи, что лупит ее, а коммерсант подтвердил, что запросто такое и что «все теперь», он это дело «раскусил», и все засмеялись, потому что он сказал, как про медведя, который повадился драть скота и его теперь не отвадишь.

У Федора родовая память о благочестии сидела внутри, не спрашивая разрешения, и при таких разговорах все внутри противилось, но он подлыбливался и терпел. А куда деваться? Бывало, и брат Гурьян, живший в отдельной староверской деревне, приезжал к ним в поселок и тоже сталкивался с мирским. Шел договариваться насчет трактора вывезти муку на берег. И вот у склада на саях-волокуше сидят трактористы и грузчики, молодые ребята. Грязища дождевая, дрызг вокруг. Все курящие, и полторашка пива идет по кругу. А обложной привычный мат с такой силой стоит, будто сквернословие, парализовавшее Русь, стало обязательным и настойчивым условием жизни, и требовалось уже и от матерей, и от девушек, и от малышей. И строгий Гурьян тоже пробросил средней силы словечко, да так, что и не сгрубить совсем, но и обозначить, что, мол, тоже свой, не чистоплюй какой-нибудь.

Троня привычно бросал окурки. Вокруг стояла весна в самой первой, нежнейшей зелени листовых иголок, салатных стрел чемерицы по серой полегшей траве, учесанной течением. Синих и белых первоцветов, вешающих под светлую полночь мохнатые подзакрытые бошки. Воды, с каждым днем все более прозрачной и проседающей в каменные берега. И лежали среди моха и льда ржавые карданы, электромоторы и догнивающие фуфайки, и Троня был одной плоти с этим раззором, и куря, сквернословил с особым вкусом, словно ему доставляло особое удовольствие пытаться Федора на староверскую твердость.

Нашли еще две буровые и вернулись к заспанному Нефеду, который ворчал, что вода «падат» и что сталкивать «пароход» пришлось «два раз».

Федор отослал фотографии и списки знакомцу-дельцу, но то ли состояние «шпинделей» не устроило, то ли еще что-то, но так ничем и не кончилась затея. Да и вся поездка оставила тяжкий осадок и началась неладно. Федор поехал, разругавшись с женой, Анфисой, которая просила не уезжать, пока не посадят картошку. На самом Енисее весна намного раньше, чем в хребте, и охотники обычно отправлялись в тайгу, вспахав огороды, и огороды эти держат и становятся камнем преткновения. Анфиса упирала, что «бурова эта журавель в небе». А Федора

возмутило то, что она поставила на одну доску огород с картошкой и миллионы, маячившие в случае удачи с буровыми. Он видел в этом «бабью» недалекую сущность и кипел от раздражения. И вот он вернулся, ввалился в избу, обожженный солнцем и невыспатый, и Анфиса, давно забыв обиду и соскучившись по кормильцу, бросилась собирать на стол. Федор сказал, что пойдет на «пять минут» к знакомому охотнику, узнать, как дела. У того сидела компания – все либо собирались куда-то, либо откуда-то вернулись. И началось заздравное «Держите», и... в общем, домой он вернулся под утро. А когда из предприятия ничего не вышло, Федор на Анфису еще и озлился и чуть не виноватую объявил.

Федя, хоть и удалялся от веры, но, как часто бывает у нехристиан, склад имел чуткий к мистике. К своим ощущениям прислушивался, любил рассказывать сны и относился к ним внимательно. И то ли добавился хмельной загул после неудачи с продажей буровой, тяжкое и беспричинное чувство вины, то ли дело и впрямь было несправедное – но стал во сне являться ржавый журавель, буровая, оживающая в грозной своей страхоте и скрежетно ломающаяся в погоню за ним, катящимся с сырой горы по ржавому в синий отлив ручейку.

Стала кошмарным видением, а он не мог понять, отчего, и, ругая дельца, жалел потраченных сил. Бывало, буровая догоняет, бьется, как в неводе, сердце Федора, и от трепета и сон будто отпустит хватку, и Федор закричит в просвет: «Это же сон! Это не поправде!» И всплывая, освобождаясь, продолжает поражаться магии приснившегося: «Ну не может это все быть «просто так», ведь что-то за этим же есть!» Больно подробно, убедительно, а главное, сильно все построено. Понятно, кроме буровой были и другие картины, которые Федор всю жизнь помнил. Еще юному приснилась весной в тайге в избушке девушка с длинным лицом и светлыми волосами. Была она в изумрудно-зеленой майке, какую он никогда не видел. Сильнейшее впечатление, осязаемое, материальное, оно многократно превосходило по силе воздействия виденное наяву. Проснулся замороженный. И всю жизнь вспоминал. Гурьян говорил, что это бесишко искушает.

Но сны Федора привлекали, он оказывался в них умнее и тоньше, чем в жизни. Являлись какие-то подробности чьей-то речи, меткие соображения в областях, которых он не касался, и даже фамилии приходили, которых не слыхивал. Будто расписывал роли и писал диалоги кто-то более сведущий, чем он сам. Однажды приснилась фамилия Ачимчиров. Тогда еще не убрали радио с длинных волн, и лесные мужики были при музыке и известях. Так вот спустя месяц после сна он услышал по радио: «Руслан Ачимчиров одержал победу в тяжелом весе»...

2. Слабовастенько

Федор и рад был заработать хоть на чем, но верным оставались лишь рыбалка и охота. Участок его лежал к востоку от брата Гурьяна, еще дальше от поселка, но если Гурьян заезжал чуть не в августе, то Федор тянул до последнего, сидел в деревне, рыбачил омуля, а потом пробирался в тайгу на снегоходе – дождавшись, когда «подбелит тундры». Снега много и не требовалось, и едва подсыпало – трогался по профилям, таща груз.

Брат Гурьян пешком пробежал участок, подлаживал ловушки, проверял дальние избы на предмет медвежьей диверсии, а потом с удовольствием осеновал на базе, бороздя на лодке по красавице-речке, добывая рыбу и птицу, и в зиму уходил довольным и подготовленным. И даже вот что отмачивал: до снега пройдет капкашки и взведет их, что б потом только приваду осталось «повешать». Избушки, особенно речные, у Гурьяна были сделаны с особой любовью, основательно, аккуратно, чтоб самому приятно. И вокруг чистота – ни бумажки, ни банки.

Гурьян же приезжал по снегу и уезжал, понятно, по снегу. По воде заезжал наскоро дров подпилить до комара и особо не прибирался. Летом вокруг все так и валялось – банки, которые собаки растаскивали, соболиные тушки. Могла и крыша подтечь. Вся надежда у таких, как Федор, на снег, да холод – снег присыплет, проложит, холод скует, и все наладит, заштукатурит, как клей могучий. Мудро знать такую спасительную силу зимы – никаких тебе дожδικов, только крепость и строй. И зачем навес перед избушкой доской внахлест крыть? Жердей накидал, а снег щели присыпал, залатал – и после хоть завали, на полу ни снежинки. Остальные братья за что не возьмутся – все равно дотошно делают, а этот взвешивает затраты, на сорта делит. Что-то обязательно надо, а что-то так, малым дефектом можно пустить.

Этой осенью Федор заехал по обыкновению по первой пороше – главное было из деревни выбраться по шевьякам – комьям и гребням грязи, в тепло размешанной тракторами и бетонно проколевшей на морозе. По тайге же одолеть требовалось первые километров шестьдесят – дальше шел подъем в плоскогорье, на лбу которого садились снеговые зaráяди, летящие с юго-запада, и снега было – хоть боком катись.

Поначалу сезонишко неплохо пошел. Федор приехал в первую избушку вусмерть ухань-канным. Лесин напало по его дороге, пропиленной в ширину снегохода. Брат-то Гурьян свою паданку с осени пропилил. А Федор с грузом, с деревни – еще не втянувшийся в таежную лямку, упрел. То и дело слезал, бродил с пилой, раскидывал кряжики. А главное, снега-то немного и прошлогодние пеньки торчат и сильно брыкаются в снегоходную гусеницу. Пружина натяжная мощная стоит, и снегоход переворачивается, выбрасывая седока. И крути его вагой, отцепляй сани, отвязывай вьюк на багажнике – а тот широкий, перевешивает.

В общем, приехал в первую избушку. Дверь открыта, как и оставлял, чтоб изба не прела. По воду ходил в бочажину, раздолбил – вода желтая, как заварка. Собака, Пестря, рядом, у входа лижетя. Печка шелкает, из подувала отсвет рыжий дрожит. Чайник бурлит. Федор напился до семи потов и лежит на нарах. Вдруг слышит кто-то «шебарчит» под нарами, а потом и заворочал: будто через равные промежутки времени сипло выдыхают – такая одышка пунктирная.

Соболь залез в избушку и даже пожил в ней какое-то время, видать, мышей много в ней. А выбежать не отважился – собака за дверью. Федор добыл соболя, обрадовался, увидел знак. В тайге кругом знаки видятся.

Соболек оказался не совсем выходной, *подпаль*, мездра на хвосте синяя. (Мездра – это подкожная пленка, а в обиходе – шкурная кожа с изнанки. У выходного зверька мездра пергаментно белая.) И по рации бубнеж: соболю вроде пошел, но невыходной. И обсуждение: «Останется – не останется». Выходной – значит сменивший мех на зимний, ценный.

У Федора на участке соболь не остался. С собакой Федя поохотился, кое-сколько добыл, но не густо, теперь надежда на ловушки. В ловушки соболь не идет, корма полно: шиповник, рябина обильная, мышьяк задавным. (Хоть в фактуру заноси: «Мышь задавным, среднеупитанный».) «Погаде-е-е, – умудренно-угрожающе говорил Федор обычные в таких случаях слова, – снег оглубет, морозыки прижмут. Как миленький, полезешь».

Но не лезет. А Федор и так не любитель таежного затвора, когда сам с собой на беседе, а тут и вовсе захандрил. Представлял поселковую жизнь, в миг ставшую желанной. Но не столько к жене, к сыну прижаться, а просто – в обстановку, когда не один на один с собой.

Хотя действительно обидно, когда столь сил на насторожку. А он и капканов доставил. Как раз морозцы поджали, Федор жердушки в зимовье готовил – палку размером с полешко выстрогает, цепочку прикрутит, капкан. Даже гвоздь наживит. Пробьет, чтоб показался. Потом в багажник снегохода – и по путику. Остановился у дерева. Затесал плоскость. Древесина мерзлая. Затеска рыжая, со слоями, как на стерляжьей тушке грань, от которой пласт строга-нины отвалили. Только, как стекло, твердая. Топор не цепляется, норовит скользом, со звоном пройти. Еще и боковиной лезвия шлепнуть досадно. Но затесал и аккуратно, точным ударом топорика прибил жердушку. Бывает гвоздь загнетса, по витым окаменевшим слоям косо пойдет. Сопя, выправит и снова забьет.

А не ловится соболь, да и мало его. Обычно Федя не особо к молитве обращался, а тут зачистил, идет по путику и перед каждым капканом «Отче наш». Приближается к капкану – шорк-шорк на камусных лыжах, – и сердце колотится: вот бы из-за залепленных снегом стволов появился висящий соболь с рыжим горлом, бурый с переливом по краю – такого заповедного цвета, что аж до нутра прострелит. Похожий на бутылку – лапа, за которую попал и на которой висит – как горлышко. Меховая бутылка. Так вот «Отче наш» – и пусто. «Отче наш» и пусто. А бывает выворотень черный горелый вертикальным отростком корня обманет. Прощет неуправляемо, хоть и знаешь, что здесь нет капкана. И снова шорк-шорк. «Отче наш». Жердушка прибитая. На стесанном конце стоит капкан прозраченько, напросвет плоско. И привада висит. Чуть качается. Хоть и ветра нет. Зато как радостно, когда помолился, и тут же выплыл из-за заснеженных стволов висящий соболь! Выходит, радовался тайге, только когда ловилось. Тогда и даль озарялась – и контраст между голой омертвевшей тайгой без добычи и далью, кричащей от радости – был огромен. До ненависти.

У других: у кого слабо, у кого неплохо. Эфир напряженный, аж звенит. Речь у всех до предела взвешена, годами отточена. Тех, у кого сносно, аж распирает, но сдерживаются, чтобы не слишком самодовольно выглядеть. А у кого плохо, особенно матерые, стараются, не теряя престижу, сказать так, чтоб все равно в свою пользу повернуть. Опыт, настой перелить в способность оценить картину. Или того лучше – предсказать. Так, с прохладцей говорят, будто не о себе лично, а вообще: «Слабая нынче охота». Мол, лучше сам оценю и своей манерой, тоном – гордости не уроню.

Для Федора сиденье на рации превращалось в муку. Изводясь, ждет, кто что скажет, даже «Отче наш» читает, чтоб «Перевальный» крикнул «Скальному»: «Да вообще пусто!» или «Да хрен забил он на капканы! Подбежит, покрутится, еще и кучу навалит, хе-хе. Не-е-е, мужики с такой охотой я не знаю... С тем же успехом в деревне на диване лежал бы. Да там хоть баба под боком».

– Перевальный Стариковой Курье!

– На связи, Скальный!

– Ну че там у тебя? Есть подвижки?

– Да че-то вроде зашевелилось. Но. – Перевальный сыто причавкнул чем-то вкусным. –

Не знаю, как дальше, конечно. Но че-то есть. Чавк.

– Ну сколь снял?

Тот, помолчав, солидно:

– Ну с двух путиков семь штук. Чавк-чавк.

– Кудряво живешь. Для этого года это даже... я тебе скажу. Я-то вообще со ста двадцати ловушек два штуки. Главное, обе самочки седьмой цвет.

– А где там Ерачимо? Ерачимо! Чавк! Ты че там примерз, что ли?

Отзываться неохота. Рассказывать нечего.

– Да на связи. На связи я, Перевальный, – постно-бесцветно отвечает Федор.

– Че, как там у тебя на пушном фронте?

– Да глухо, восьмой день пошел, я уж забыл как соболя обдирать. – Федя отвечал тоном, не то что обиженным, но каким говорят, когда несправедливость. Мол, не трогайте, не берите. Не хочу. Но без жалкой ноты, а наоборот – в своей правоте. Смотрите, как чувствую, вижу наскрозь план этот подлый. Главное, не уронить достоинства, сохранить, перенести в область прозорливости и в ней утвердиться, взять свое, невозмутимое. Показать способность не удивляться, словно главный промысел – добыть эту жизненную жесткую правду, упредить, слившись с ней, раньше, чем она заест, погубит. Хотя все равно заедала, но хоть не на людях.

Пестря вдруг стал раздражать. Побежал тут по следу соболя, и спустя час раздался лай, да такой громкий, с заливом, что Федор побежал, как мальчишка, и обнаружил картину: склон увала, спускающийся к тундрочке, на открытом месте (отсюда и доносчивость лая) сидит под кривой наклонной кедрой Пестря и лает на глухаря. Называется «скололся» со следа на менее ценную добычу. Такая досада, что пнул с ненавистью кобеля.

– Да нет никово. Бесплезно. Глухаря, правда, добыл. Аж синий, старый...

Начал на все грешить. Спрашивают, как птица. Отвечает: «Да есть птица, есть. Только худая». Спросят, как техника: «Да так-то тьфу-тьфу, только жрет, как слон».

Пушнины нет – занятия нет. Вечер. Ни сна, ни дремы. Эфир только гудел, но вот все незаметно поутихли, перепрощались, сонно и успокоенно. Тишина, только фон идет, тикает мерной капелью. Было наладится сон – но чуток не добрал слоя, одна мыслишка проскочила, и тут весь рой ожил, какой тут сон! А спать надо – невыспатым не работа. Сколь там до подъема? Четыре часа, три с половиной, уже три... Катастрофически на убыль идет время отдыха, и чем больше думаешь, как уснуть, тем громче бодрость и нервы, как лесины на ветру гудят. И книг, как назло, на базе мало. Божественного не брал с собой, и был всего один журнал «Охота и охотничье хозяйство». Он его раз двадцать прочитал, особенно литературные страницы, и уже наизусть выучил, хоть и сказками отдавали многие заметки.

Так и лежал. Мысли разные приходили, и Федор, бывало, держась на грани сна, направлял, натравливал их на интересное, развлекательное, и они подхватывали, увлекали, и он художнически засыпал. Какой охотник не представлял, как обращался в собаку, взявшую след?! И объединив в одном существе и знания, и собачьи нюх и способность нестись по тайге без усталости, в минуты одолев версту, не оказывался у добычи?! Оставалось только выбраться из собачьей шкуры с оружием и добыть соболя.

«Мне бы, да с моими мозгами, – развивал по рации знаменитый балагур «Сопка-66» по кличке Топоришше, – такой бы нюх и ноги, я бы пять планов бы делал!» И Федя, лежа в тревожной полудреме, представлял, как превратился бы в Пестрю и всю науськивал воображение, что б взяло след и увело в самую чащобу сна. Интересней всего, когда нить уже подхвачена кем-то таинственным, а он земным краем сознания еще отдает отчет в происходящем! Момент потери управления начинался сонной бредятинкой, голосами, будто кто-то переговаривался, но если слишком в упор это отметить, то все срывалось, и Федя шел на новый заход. Чем больше было таких погружений-всплываний, тем насыщенней казалось пребывание на нарах и тем сильнее была их сила, которая росла, казалось, чем хуже шла добыча.

Обращение в Пестрю не всегда сулило награду – раз соболиный след вывел на прогалину, где громоздилось страшное заснеженное сооружение. Это была мертвая буровая. Примерно на половине вышки на перекладине сидел здоровенный темный соболина. Федор выстрелил

в него из «тозовки», и в этот момент, стряся снег, заскрежетала промерзшая громадина и, постепенно набирая ход – железу нагреться надо – ломанулась за Федором. Он вроде бы начал уходить, и разрыв был хорошим, но лишь страшной становилась далекая лязгающая поступь, потому что точно знал, что догонит. Перед ней и деревья расступались. Просыпался медленно, сам себя вытаскивая – так же раздваиваясь, как при погружении в сон, и убеждая, что все неправда, мол, не оглядывайся и всплывай, всплывай. Но даже и такие кошмары, не отваживали от нар и лишь укрепляли привязку, набивали дорогу, и она крепла, узжала, берясь пережитым, как стужей.

Федор вставал поздно. Пестря, слышав завозившегося хозяина, нетерпеливо топтал лапами на убитой площадке перед избушкой. Пошевелится Федя – и Пестря затопает крепкими лапами. Замрет – и слушает – что хозяин? Обувается. Пошевелился – и снова дробь лап нетерпеливая. И топоток, и подскуливание. И то, что кобель полностью прав, работы ждет – только раздражали. Пестря вообще раздражал – своей простодыростью, слепой верностью. Тупостью: сидит и лает соболя, а где хозяин, плевать – добредет ли, нет. По сравнению с псом образ соболя был Федору ближе: неутомимый рыскун, без глупостей живет, лишнего не делает, как собака, не привередничает, морду не воротит, все метет – и рябину, и шиповник, и мыша, и белку, и на рыбу даже идет, а летом и козявку замесит, тут к бабке не ходи. Так что еще подумать надо, ха-хе, в чьей шкуре-то грамотней...

Так и жил не в радость. Мнительность появилась: в другую избушку пойдет, и начинает казаться, что забыл воду вылить из ведра. Или что уголек выпадет из поддувала печки и спалит зимовье. Ворочается. Лопату в руки и снегом засыпает вокруг печки. На другой день пойдет – и не помнит присыпал или нет. И, конечно, кажется, не присыпал. «Опеть не ладно». Понятно, что можно без конца подозревать себя в забывчивости и дойти до сумасшествия.

Стал даже будто болеть, недомогать и пуще стремился из тайги на нары, которые все больше манили. Он их *належал*. Однажды сильно приболел в избушке деревенский хворый их мужик. Мужика родственники вывезли, а Федора попросили: поедешь мимо – заberi радиостанцию. Заехал. Избушка маленькая и тесная, в половину нары. На стене ковер с оленями. А на нарах – спальный мешок, фуфайка, тряпки, обертки от таблеток, которыми завален и стол. Все на нарах до такой степени спрессованно, наложено, что напоминало звериное логово. Вот что-то подобное, только без оберток и у Федора *належалось*.

Федор еще нашел лежку соболя – в листовни прикорневое дупло. Разрубил и увидел постель: гнилушки, травка, мышьиные шкурки. И все перепрелое и до такой степени потусторонне-звериное и тоже наложенное, что как в чужую тайну заглянул.

Вообще, в тайге много тайн вылезало. В деревнях и особенно городах семейное, личное скрыто наглухо от глаз и ушей. Кто и чем живет рядом, как звать кого? Одному Богу известно. А на охоте есть радиостанция, и огромная местность так говорит голосами, что у каждого в голове целая карта характеров с подложкой из рек и гор. На топоснове люди-голоса – каждый со своей манерой, повадкой, особенностью – словечками, откашливанием. Из каждого голоса, высокого ли низкого, напористого или вареного, целый портрет многолетний. Кто-то, ни разу не виданный, с женой заговорил, и тайное, семейное, зазвучало на весь свет. «Слышь, мужики, вы помолчите маленько, щас Старикова Курья с домом разговаривать будет». Притихают, а сами на подслухе. Старикова Курья, басовитый мужик, который всегда на связи и общепризнанно «на под-вид диспетчера», всегда знает погоду и все всем передаст. Если дело днем, и почти все мужики на путиках, Курья все равно ощущает зал и говорит с поправкой. В таких разговорах никакой лирики, и даже, наоборот, и показное бывает. Жена высоким, певучим голосом старается теплое избяное пролить на всю округу, и голос, как рассада, тянется по стуже: «Слушай, а Аленка сегодня как заплачет, папа, папа». А папа на ветру, на вершине сопки, и не хочет, чтоб слова эти простыли, и только отвечает басовито и все-таки с улыбкой: «Ну понятно, понятно», мол, ладно, ладно, не выстужай избу, закрой двери-то.

Считается, что семья помогает в невзгодах, но Федора, когда *лежал* – неудачи только отделяли. В тайге его бударажило единственное: вокруг столько дармового, неучтенного, волшебного живого, что можно пустить в свою пользу, продать или обратить в закуску и раздарить нужным людям. И что он – без свидетелей с этими драгоценностями, и в этом особая тайна, личная, прительная и ничуть не менее интересная, чем семейная. И свои счета-расчеты, что можно превратить столько-то оленей, соболей или рыбин в снегоход или лодку. Или машину. И довершалось это умением не только добыть, а еще и пристроить. Это и давало азарт, и становилось целью, и нарастало самолюбием, что, поди, руки-то из места растут, и добыть умеем, и договориться, и отношения выстроить с миром, пусть грешным, но нужным. И вообще мы мужики крепкие, у нас и дома все крепко, так что перед людьми не стыдно. И жена – тоже часть крепости, хозяйства, завода. Со своими, конечно, бабьими немощами-странностями, но тут уж «че поделашь». Вон Шектамакан вроде лучший охотник, а бывает так, «евоная» выведет из себя, что фыркает потом неделю, что «никово баба не понимает».

Федору в голову не приходило, что Шектамакан только на людях харахорилися, и целая жизнь шла у него в семействе. Что когда дома, то с женой ездит неразлучно и по сети, по черемшу, по ягоду и не потому что считает жену куском завода, а потому что она значит не меньше, чем вся тайга вместе взятая. А если и порывкивал на нее из избушки, то вовсе по другим причинам. Чтоб не сбивала с колеи, с круга, с таким трудом выстроенного. Потому что если о жене будешь думать, то с ума сойдешь – и прощай промысел. Поэтому проще подморозить чувство, на лабазок вытащить из зимовья, и понадежней прибрать, чтоб мышцы не попортили. Правда, в нелегкий миг не выдержит охотник, занесет узелок, оттаит – и такое навалится, хоть правда «домой бежи».

У Федора было как? Претило большие чувства вкладывать в семью, и все домашне-теплое, сонно-молочное, где он расслаблялся и терял хватку, казалось враждебным работе, чем-то стыдным, говорящим о слабости. Другие-то мужики млели от тепло-молочного, и только на людях гонор разводили, а Федор все принимал за чистую монету и за признак силы, которой самóму не хватало. И когда окунался в молочное тайное – стыдно было и жену предавал, будто вечный Шектамакан или Перевальный стоял над ним стоял и следил – настоящий он мужик или нет. А если вдруг жена напортачила в хозяйстве или по связи несуразность вывезла – то краснел от стыда: опозорила.

Анфиса спросила по связи совета, мол, не знаю, что с нетелью делать. Спросила неумело, стесняясь всех тех, кто слышит, и от этого хуже сбиваясь. И не к месту повторяя: «Как понял, прием». А Федор отрезал: «Ты давай, это, хозяйка, сама решай с нетелью». А она тогда про Деюшку что-то пролепетала, что он избушку и собачку нарисовал, а Федор закруглил, оборвал почти, мол, ну ладно, ладно, хватит тут нежности разводить. «Все, до связи».

Им ребеночка только одного Бог дал, сына Дея Федоровича. Хороший мальчишка, маме помогает. Со школы придет, с дровами поможет, по воду съездит на «буране», правда, улетит крыльцо все, да сам и расшибется. И так изо дня в день. А дни у хозяйки на один похожи, событий-то нет, и вот уже ноябрь и радуйся – если б не постоянное чувство одиночества и забирающего хозяйственного круга, когда одна мысль – не поскользнуться, не вередиться, не заболеть, тем более на вертолете грипп злýchий привезли. Сначала ноги ломит, а потом температура сорок.

Середина ноября... В тайге у охотников целые эпохи сменились, и каждый день, как деревенский месяц по впечатлениям. Взлеты и спуски. Сопка на сопке. А тут равнина. И вот выйдет хозяйка поздним вечером на угор – чернó. Только огромный пятнистый провал до неба – Енисей шугует ледяными полями, грохочет раскатисто и отстраненно. Деревня за спиной, и кажется, ты одна на берегу океана. И даже есть ли дом – неизвестно. Может, привиделся? Может, обернешься, а там ни огонька и одна тайга ледяная? И так жутко, одиноко станет, что хоть плачь. Только молитва и спасает.

Федор и в полусонных своих мытарствах по тайге плутал, а не домой возвращался, считая, что незадача с соболями выставит его худым добытчиком. А что на любовь смелость нужна, тайно понимал, но за это еще больше в себе улеживался. Недолюбленное так и копилося: и жена, и сын, и тайга зимняя серебряная – уже в союзе состояли, как все брошенное. И раз о любви-разлуке зашло: не все охотники ширь имели, как Шектамакан, но управлялись и жили, и любовь хоть какая, но теплым шаром перекатывалась из семьи в тайгу и обратно без ущерба для близких и дальних.

А соболя все не ловились. Однажды Федор пошел на путик особенно поздно и вдобавок в ручей провалился – промыло полынью, чуть дальше, чем он думал, и припорошило снежком, а тот не успел позеленеть-пропитаться. В общем, подмочил лыжи: камус сложно очистить от ледяного чехла. Ножом стараешься скоблить. И надо, чтоб вода замерзла – чтоб морозец. А то будешь у лыжи сидеть ждать, пока льдом схватит. Федор и ноги подмочил и вернулся в зимовье. Переделся. Лыжи, чтоб не повело, засунул в жомы, парные палочки, заткнул за специально прибитые брусочки. Включил рацию и его позвал «Лабаз», брат Перевального, которого Перевальный посадил у границы участка «форпошшыком», ну и чтоб сети ставил. Перевальный – деятельный мужик, не старовер, но уважаемый всеми, независимо от конфессий – в голове трудового мужика соседи-работники по сортам распределены, и Перевальный у всех в первых. Лабаз был молодой и чудаковатый, к тому же не таежник – работал в школьной кочегарке. Он никак не мог размочить счет по соболю. Виноват, правда, сам, сначала тянул, взялся баню рубить, потом бросил... и начал настораживать с опозданием... И вот сегодня у него попал первый соболя.

– Ерачимоб! – кричал он, срываясь на фальцет. – Ерачимо Лабазу! Ерачимоб!

«Че кричать, – раздраженно подумал Гурьян, – видишь, не отвечают, и нечего орать». И ответил негромко и умудренно-нехотя, будто занят был чем-то важным и особенным:

– Да, Лабаз.

– Ерачимо, слушай... – Лабаза прямо распирало – слушай, хе-хе... такое дело... Мне твоя помощь нужна... Я тут соболя добыл! Да, главное, котяра такой. Слушай, прямо не знай, хе-хе. Слушай, а это... в общем... я хрен его знат, как его обдирать! Помогги, слушай. Я честно че-то это... Хе-хе.

«О-о-о, – подумал Гурьян, – час от часу не легче».

– Ерачимо-о-о! – проблеял Лабаз. – Ты где потерялся? Слушай, я не думал, что он такой здоровый бывает! Лапти такие! Может, это росомага, хе-хе?!

– Цвет какой? – неестественно равнодушно и с надеждой спросил Гурьян, надеясь, что скажет семерка, желтый, хоть не так обидно...

– Да слушай! Чо-о-рный! Чо-о-рный, веришь ли, как головешка! И ишшо сседá! Аж с искрой! Вот ведь! И горло, слушай! Горло аж оранжевое, аж горит, знашь, как этот, как апельсин! А я ишшо ворчу. Думаю, не ловится и не ловится! Дак я согласен – пусть сначала не ловится, зато потом такого великана прикутать! Тем более я-то так тут у братухи... Для мебели... А и к доброму охотнику не ко всякому такой запорется! Экземпляр!

– Ну понятно. Мыши-то не постригли?

– Да нет, он в жердушке был! Еще иду – смотрю че-то черное, аж вздрогнул! Еще тащил в рюкзаке, лапа за ветки цепляется, думаю, не сломать бы!

«Какого же он размера?» – изъедал себя Гурьян.

– Ну ты мне помоги, ага? Прямо говори, че да как? А то я сижу, как дурачок, неохота испортить такого... верзилу!

«Сам ты... верзила!» – подумал Федя и сказал:

– Лабаз, у тебя тряпка есть? И чулок?

– Какой чулок?

– Капроновый чулок. Женский. Или от колготков опорок.

- А чулок зачем?
- А обезжиривать чем будешь?
- Обожди, пошарюся на полке.

Пауза.

– Ерачимо! Нашел! Степан тут всего назапасал. Братан у меня молодец, ничо не скажешь. А то уж, я думаю, сейчас «буран» раздергаю и в деревню, ха-ха... в клуб! Там какую-нибудь марамуху из колготок вытрясу, едри ее за ногу, хе-хе... А колготки в карман и обратно...

В общем, заставил он Федю подробно с уточнениями и переспрашиваниями, ободрать по рации соболя, да еще при каждом действии в красках комментировал свой восторг по всем поводам: какая у него мездра, «сколь жира в пахах – аж гирлянды, хоть на елку вешай», и какие у него красивые лапы, подушки, хвост, спинка, уши и все остальное. Чуть не усы: лучшие в крае. После обдирки соболя, он так изнервничал, что решил «пружануть бражонки», причем с полной серьезностью спросил Федю, «будет» ли он. И разочарованно-облегченно сказал: «Ну а я пригублю».

– Ты соболя-то напяль хотя бы.

На что тот сказал:

– Обожди, мне напряжение надо снять.

«Ведь сейчас надрызгается, забудет и спарит соболя».

Эфир наполнялся гомоном, постепенно заглушая голос Лабаза, который уже кому-то другому втирал восторженно про «Экземпляр», про такого «котяру, что загляденье!» и про его невероятные стати, согласно которым он должен был давно превратиться в Золотого соболя из сказки. И про свои резкие планы расширения промысла. Он то замолкал, то вступал все более восторженно и путано. Паузы увеличивались, а перед тем как окончательно заглохнуть, он прокричал, какой «басявый» у него денек сегодня, что грех не отпраздновать, и что завтра встанет «в шесть, нет в пять» и пойдет «дупляночек подпилит».

«Сам ты дупляночка! Чтоб тебя в дупло засунуло. Экземпляр!» – только и подумал Федя, выключил лампу и в который раз взялся за «литературные страницы».

3. Жердушка

Проснулся он в темноте от двух голосов. Говорили очень громко и будто бы рядом или неподалеку. Голоса были высокие, как детские.

– Тихо ты! Проснулся, кажется.

– Да ты че!

– Ну вот ворочается.

– Че он сюда приперся опять? Жили же спокойно.

Подул ветерок, и очень отчетливо скрипнула кедра́ о наклонную сухую елку. Федор пробно пошевелил передними лапами, вытянул их, чувствуя силу и необыкновенную, мягкую их натяжку. Не хрустнул ни суставчик. Потянулся, ощутив отдохнувшее тело, зуднувшее накопленными силами:

«Крупный кот. Ничего не скажешь», – подумал он так же уверенно, так же невозмутимо, как про соболей, не желающих ловиться. Мол, кого-кого, а его-то на мякине не проведешь, он такой наторелый, что чуть не заранее все видит. И такое предвидел. Сытое это чувство в нем необыкновенно усилилось и обострилось.

– Потянулся! – пискнули снаружи мыши, точнее, полевки (охотники зовут мышевидных скопом «мышом», без различия по толкам). Мыши сидели в соседнем кедровом дупле – почти половина кедрин понизу дупловатые.

– Ничо так утречко! – крэкнула кедровка. Федя теперь очень хорошо все слышал, причем не столько громко, сколько обильно, остро и так, что каждый звук был как утренний месяц – отдельным и тонко врезанным.

– Ну че нажидать? Лежи не лежи, а на путик-то надо.

И он аккуратно выбрался из дупла. Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус – все усилилось и заострилось, как лезвие. Добавилась какая-то новая острота участия и стремительность, единство решения и действия, помысла и движения. Позыв прыгнуть, повернуть голову приходил сразу по всему телу, а не как раньше. Сначала мысль: «А пойду-ка я сперва простучу лед топориком», а потом уже решение: «А теперь ступлю. Ногой». Нет – теперь все шло быстро и ладно. Но была и важная разница. Раньше Федя, о чем-то думая, хватал краем еще десяток соображений, и было ощущение обзора запаса, хранящегося в голове. А теперь мысли-то оставались прежние, но в его небольшой остроморденькой головенке помещалась одновременно всегда только одна мысль. Среднего калибра. Остальные были будто в запасе: не то в лапы залиты, не то в дупле лежали, не то рядом ли бежали. Непонятно.

Меняться они могли быстро, но не входили в спор, и была исключена возможность обсуждать с самим собой этот случившийся замес человеческого и звериного. Царящая мысль была в монолит слита со стремительным, красивым и здоровенным котяркой, темным с сединой и со светящимся оранжевым горлом.

Выскочив из дупла и услышав, как ширкнули в корни мыши, он, мгновенно внедрясь в обстановку, трепещущую звуками и запахами, побежал к своему путику. За ночь округу засыпало свежим снегом, будто в подтверждение, что новая книга открыта.

По дороге он попытался подбежать к рябчиной лунке, но рябчик ракетно вылетел, и тотчас с полянки оглушительно поднялся весь выводок и расселся по елкам. Запах он чувствовал, но рябчики исчезли. Они были, как короткие мысли, которых не надо додумывать – затаилась и ладно. У Феде и раньше случалось, подлетит соображение, и то одним боком повернется, то другим, и думается: ты бы не вертелось, не путало. А оно пуще вертится, перья топырит, хохолок и на него еще всякие подлетают, спорят, морочат. Беспокойство одно. Лучше бы тихо сидели.

Федя выбежал на путик, протоптанный снегоходом. Прямоугольная канавка была плавно обведена свежим пухляком. Федя оказывался теперь в ее низу и края канавы видел из-под низу. Снег был настолько пухлым, настолько свежо созданным, и такого крупного помола, точнее, поморозки – что состоял из синеватых игл, перекрещенных необыкновенно просторно и воздушно. Иглы были то мохнатые, то граненые.

– Так... Крючок, крючок... – Федя подбежал к капкану, посмотрел по сторонам. – надо сухой, хотя неизвестно еще, как лучше... Таскать этот дырн по путику? Еще и кедровки проумеют. А с другой стороны, каждый раз палку искать...

Запусканием капканов называется их рассторожка, *захлапывание*, как иные говорят. Федор-охотник запускал специальным железным крючком, похожим на плоский костыль. Костыль был вделан в расселину на черенке деревянной лопатки. Такая лопатка имеет длинный черен и используется как посох. Лопать ее изогнута, как ложка, чтоб удержать снег.

Теперь предстояло приспособить подобие. Федя нашел сухонькую пепельно-серую еловую палочку, взял в зубы и, подойдя к капкану, стоящему в дуплянке, аккуратно тыкнул палочкой в тарелку. Капкан сработал так оглушительно и резко, что Федя подпрыгнул. Но потом спокойно, мордочкой к лесу, съел приваду – кусок рябиновой спинки. Потом пробежал к следующей дуплянке, подобрал еловую палочку и снова запустил капкан и съел отличную глухариную шейку с черным перышком. Пробежал дальше, обойдя кулемку: безопасность прежде всего – только капканы на земле и в дуплянке, никаких кулемок и жердушек: слишком сложны в запуске. Четвертой ловушкой был капкан на земле в основании кедр. В загородке из жердей и с пихтовой крышей. В глубине за капканом лежал объединенный до косточки кусок глухарятины в точках мышинового помета. В корнях жили мыши. Федя уже сбил первый голод и брезгливо пропустил ловушку. Зато в следующей дуплянке ждал кусок глухариной грудины с отличным пластом белого мяса.

Федя потрусил дальше, слыша переговоры синиц по поводу его занятия и пуская мимо: всех слушать – уши опухнут. А они нам пригодятся. Вдруг... на дорогу выбежал соболиный след. Федя, как вкопанный, замер. «А ты еще кто такой?!» След был ночной, небольшой. Самочка. Он попрыгал по следу – изгибаясь по-соболиному – складываясь, как варежка. Раздражение и возмущение сменилось расположением: пах след чудно, очень милой и аккуратной показалась сама побежечка... Федя встрепенулся и напряжился – впереди раздавалось позвякивание капкана, живое биение, сухая поскребка коготков по дереву. Он побежал и увидел в жердушке, прибитой к рыжей зарубке на кедрё, соболюшку. С капканом на передней лапке она сидела на кончике жерди.

– Соболя, миленький, выпусти! Пожа-луй-стаааа! – залилась плачем соболюшка. – Придумай что-нибудь, пропадаю! – И Федя, настроившийся ревниво и поучительно, аж мордочкой дернул от досады: «Вот угораздило!»

– Да погоди, не верещи, тихо сиди, не хватало еще Пестря учует. Тогда уж точно пропадешь. – заворчал Федя, не представляя, как разжать пружину, плоский ласточкин хвост. – И как тебя угораздило?! Не видишь – железо! Лапка ты...

«Хуже некуда. И жалко, смотри, какая приглядная. Ну, как сделать-то? Как? Кедрина если б упала на пружину... Да куда там! Если б еще на полу капкан был. А тут на весу. Упереть некуда».

– Ой пропаду, моя! Мороз даванет – и прощай! – не унималась Лапка – Ты же такой большой, красивый, ну придумай что-нибу-у-у-удь! Пусть я тебе на поругу, но и в воле твоей!

И она, дернувшись, сорвалась с жердушки и, бренча цепочкой, забила на весу, закрывиваясь, складываясь и пытаясь сама по себе залезть.

– Да успокойся ты, вздохня! Сиди тихо, а то уйду. Тихо сиди! Не рыпайся.

– Все-все-все, моя. Сижу. Сижу. Только не убегай.

– Вот и сиди. И так полтайги взбаламутила.

Неподалеку стояла пихтовая сушина, квадратно по волокнам издырявленная. На ней сидели два трехпалых дятла. И, видно, на суматоху, шелково-шумно подлетел и подлип к пихте Желна. Здоровенный черный дятел с красной головой.

«Довершалась. И без твоего цокота тошно. Че делать, ума не приложу. Совсем уж глупость... А и глупость придумашь, когда выхода нет. Какого-нибудь волка выцепить, чтоб капкан зубами разжал... Да н-но. Тот в жизни не притронется к железу! Че смеяться? И вообще тип мутный. Связываться с такими...»

– Ну что? Что? Ты придумал? Может, волка? – пискнула Лапка.

– Да какого волка?! – раздраженно прищипнул Федя. – Я вот думаю... – Он задумчиво оглядывал тайгу. – Я вот думаю... вот если вот оленя... Они и ребята нормальные, ну и найти проще, где-нибудь на тундре шарятся. А главное, тут хоть понятно, как действовать.

– Но, – сказал Первый трехпалый дятел, – так-то... можно попробовать.

Все три дятла уже подлетели поближе и сели на обломыш еще одной сушины. Феде даже показалось, будто они воткнули свои клювы в деревину, как ломы или лопаты, и те остались, словно насадки какие-то. А сами, чуть не облокотясь на них, судачат:

– Да ково пробовать? Где олень однерку одавит?! – фыркнул Второй Трехпал. – че собирать-то?

Лапка попала в капкан первого номера. Вкруг этого зашел и спор.

– Смотря какой олень, – парировал Первый Трехпал, понимая, что прокосячился.

– Да хоть какой – бесполезно.

– Ну коне-е-ечно. – передразнил Первый, поеживаясь, и забил, как клювом: – Спокойно одавит однерку.

– Да в жись не одавит. – Второй даже хрюкнул и весело оглядел присутствующих, качая головой, мол, видали упертого.

– Ну двух тогда ставь! – гневно крикнул Первый. – От проблема-то, едрим-ть.

– Да ково двух? Будут задами толкаться. Еще и соболя стопчут.

Тут Желна очень веско и медленно откашлялся и с паузами отмерял:

– Олень никогда не одавит однерку. Нолевку куда не шло. Еще какая пружина. А однерку... ни в жись. – И презрительно замолк.

– Да я че и говорю, – сказал Второй Трехпал, – нолевку да, согласен. А все что больше – только сохатый.

– Мужики, – снова вступил Желна, будто не слыша и не признавая, что про лося застолбил Второй Трехпал. – Не пойму я вас, че вы хреновиной занимаетесь. Сюда наа сохатого, бычару сытого. Тот одавит. А так бесполезно. Ладно, я полетел.

– Да погоди, полетел, – возмутился Федя. – Там вот край тундры след был вроде свежий. Слетай глянь – может, там он.

– А мне это наа? – презрительно сказал Желна. – Сопли с вами морозить.

– Слышь ты, долбень, – вышел из себя Федя. – Ты языком своим липучим можешь хоть сколь молотить, а я те дело говорю: будь другом, слетай. А я тебе помогу, глядишь.

– Да чем ты мне таким поможешь? – кобенясь, затынул Желна.

– Ой, невозможно, мужики! – закричала Соболюшка – С вами точно заколеешь, пока договоритесь! Ой, пропадаю! Спасите-помогите-замерзанье!

– Она дело говорит. Совесть-то поимейте. Я тебе расска... – Он снова обратился к Желне, но Второй не выдержал:

– Да давай я сгоняю. Этот вечно... – кивнул на Желну. – Только языком...

– Мурашей стращать – поддакнул Первый.

– Сгоняй, а я тебя научу, как, например, в ловушки не попадать. А то я знаю, вашего брата сильно много в кулемках гибнет.

– Да лан, разберемся, – крикнул Второй и улетел.

Минут через десять он вернулся и сказал, что в осиннике стоит сохатый, «здоровенный бычара, рога, как лопаты, еще и фырчит».

– Сиди, – сказал Федя Лапке, – щас все сделаем. Главное, не дрыгайся – лапу загубишь. – И побежал, слыша удаляющийся разговор:

– Олень никогда не возьмет «однерку»...

– Да ба-рошь ты. От у нас в запрошлом году...

Желна никуда и не двинулся.

А Федя увидел картину. Здоровенный сохатый стоял и несмотря на мороз лызгал упавшую осину. Аккуратные свежие бороздки украшали оливковый бок. Рога Сохатого были великолепны, в пупырышках, желтые в лопате и буро опаленные с боков на отростках.

– День добрый, хозяин! – солидно сказал Федор совсем из-под низу.

– Смотри, как обрабатываю, – не поворачивая головы ответил Сохатый откуда-то сверху. Потом отошел и посмотрел на расстоянии. Темно-коричневый, он весь колыхался, ходя ходунном, поднимая длиннющие белые ноги, словно они были на веревках – штанги какие-то, враз и не переставишь.

– Нормально. Слушай, помоги тут, а я тебе расскажу, где соль взять.

– Я все-гда го-во-рю, ххэ, – очень неторопливо и веско говорил Лосяра с придыханием – Что все дело в инструменте, ххэ. Если путний инструмент... – И он снова полоснул кору. – То что мороз, что не мороз. Один леший.

«С таким мастером она точно загнется», – подумал Федя.

– Помоги, а? Здесь рядом. И делов на пять минут. А я тебя научу, как под пулю не попасть. Капитально научу.

– И как? – сказал Сохатый с воспитывающей интонацией. С придыханием, с рабочим кряхтением он перебрел через ствол, не спуская с него глаз. – Под пулю не попасть?

– Да расскажу все. Слово. Только сначала надо освободить соболюшку одну.

– Откуда освободить?

– Из капкана.

– О-о-о-о! – затянул вдруг Сохатый неожиданно категорично и зачастил очень нудно: – Не-не-не! Не-не-не! Даже-даже...

– Да че ты испугался?

– Да к чему мне неприятности эти?! Капканы чужие тем более... Не-не. – И он отвернулся, помолчал и, продолжая сопеть, сказал прежним тоном: – Ты давай-ка стрельни оттудова... Ровно ли бороздка легла?

– Да мои капканы! – выпалил Федя. – Мои! Погнали!

– Той-той-той... – вдруг с невыносимой уже основательностью остановил Федю Сохатый. – Какие такие твои? – допросно попер, не отрываясь осинового бока: – Ты кто такой?

– Я Федор... – «И зачем я ему рассказываю?» – в отчаянии думал Федя. Но чутье говорило, что тянуть нельзя.

– Той-той. Той... – замер Сохатый, вперясь в осину.

– От те и «той». Хоть голодный, хоть сытой. Я – Федор. Да! Я превратился в соболя, – выпалил он, краем глаза и ушами исследуя, слышит ли кто его слова. Наверняка какая-нибудь кедровка притихла и замирает от восторга и предвкушения...

– Той-той-той, – еще раз обойдя осину и еще внимательнее вперясь ей в бок, сказал Сохатый. – Смэ как ровненько. Лыска должна быть ровно восемь миллиметров. Тогда такую осину хоть куда... Ну-ка, стрельни. Давай-ка отскачи туда... Я вообще люблю, когда все по пути.

– Да какие миллиметры, там Черная Лапка гибнет! – крикнул Федя и добавил отчетливо: – Ты можешь туда подойти и на эту пружину наступить? Я с тобой рассчитаюсь.

– Той-той-той... Значит, как под пулю не попасть. Да? – совсем замедлил речь Лосяра. – А мне на кой, если Хведора-то нет теперь! Ну? Мне че его пули-то? – И вдруг посмотрел на соболя и зычнейше фыркнул: – А?! – Да так, что Федя подскочил. Лось был огромен и нависал, как буровая, на бесконечных своих ногах.

– Я тебе расскажу, как мой брат Гурьян ходит, как его собака работает и где стоять лучше – куда он *вообще* не ходит. Вообще! И про Перевального. И скажу даже, когда он весной на участок ездит.

– Той-той-той. Давай так. Превратился в соболя, да? А он где тогда? Соболя? Где он есть? А? – снова рывкнул Сохатый. – Соболя был? Был. А теперь ты вместо него. Ты его что – из шкуры выжил? Х-хе... Я че – не понимаю? Значит, он где-то бегать должен? Без шубы. Так? Или, может, его спецом под тебя сделали? Соболя? – и успокоенно подытожил, пристально пялясь в новую риску: – ... Вот это меня волнует. Я люблю, чтоб все досконально было. Смотри, какой бок!

– Да леший его разберет! С шубой, без шубы! – кричал уже Федя. – Давай потом. Давай ты освободишь Черную Лапку. А там поговорим.

– Да не вопрос, – сказал Лось, и Федя с облегчением вздохнул, а Лось добавил:

– Только сейчас мне с осиной разобраться надо. Давай после обеда. Завтра.

– Какой после обеда!!! Она погибнет же!

– Той-той-той, – снова затянул Лосяра отсутствующе и совсем приблизившись к осине.

– Кстати, у тебя рога отличные, – уже от безысходности бросил закидушку Федя.

Лось самодовольно хмыкнул. Мол, ясно-понятно. А Федя спросил честнейше:

– А ты пробовал ими жердушки отрывать?

– Жердушки? – вдруг неожиданно быстро сказал Сохатый и впервые взглянул на Федю.

– Жердушки. Там же капкан на жердушке, его же на пол надо спустить.

Лосяра застыл.

– Надо попробовать, ты же не пробовал. Там, кстати, осины вкусней.

Вдруг Сохатый очень медленно зашевелился и, постепенно наращивая скорость шевеления и перестановки своих ходулин, побрел в сторону Лапки.

Когда пришли, Лапка сидела комочком, онемев от отчаяния. Первый Трехпал подлетел к Феде и сказал:

– Мы тут скумекали: ведь еще и жердушку отдирать надо.

«Вот дятел и есть дятел» – подумал Федя:

– Давай работаем! Лося, смотри Лапку не прищечи. А то знаем тебя... Щас, Лап.

А про себя подумал: «Орясина осиновая».

Дятлы снова подлетели:

– Интересно, возьмет с первого раза? – вякнул Первый.

– Бесплезно, – сказал Желна. – А если и возьмет, то гвоздь останется...

– А те че гвоздь? – бросил Второй.

Сохатый замедленно перетек к жердушке, некоторое время подлаживался рогом, искал угол, упор, и потом как-то неожиданно и быстро рванул так, что она мгновенно отлетела, – только гвоздь скрипнул отрывисто и заскорузло-морозно.

– О, нормально! – обрадовался Лось и мотнул головой: – Еще скрипит ково-то!

– Ну все! Вставай сюда! – крикнул Федя, но Лось уже говорил:

– Теперь крышу, обожди.

Над жердушкой была прибита на тонкий гвоздь рогулька. На ней лежала берестина, завившаяся и обхватившая с двух сторон отростки рогульки. Крыша защищала капкан от снега.

– Да какую крышу? – вскричал Федя.

– Не-е-е, – говорил мечтательно Лось, – хороший инструмент – это полдела. – Мастерство, конечно, тоже... Ну. Какая рогулька крепче? – отрывисто сказал Лось, намекая на свои

рога, и, оглядев присутствующих, сломал пополам рогульку. Одна половинка, одинарная, осталась на гвозде.

Дятлы прыснули со смеху. Лось стал ее отковыривать. Соболюшка сидела комочком, засыпая и клонясь набок. Лось отколупал остаток рогульки и сказал:

– Не, ребят, не знаю, как вы без рог живете... – и вдруг бодро спросил: – Следующая далеко? – и сделал движение по путику.

– Той-той-той! – закричал Федя! – Какая следующая?! Сюда иди!

Еле уговорили, можно сказать, подвели, установили, будто это была сложнейшая конструкция, буровая какая-то...

– Так, а ты тут откуда? – вдруг заметил он Лапку. – Не знал, что они в сборе идут...

– Дэвэй, дэвэй! – раздраженно частил Федя. – Вставай сюда!

Лось наконец встал, куда надо, но его морда оказалась напротив небольшой рябинки, и он принялся ее заламывать зубами:

– Конечно, не осина, но смотри, как надо...

– Убийство! Можешь сюда наступить?

– А?

Требовалось стать задним правым копытом на пружину. Сохатый вроде и понимал, но то соскальзывал копытом с пружины, то наступал на нее не по центру, и с такой нелепой силой, что капкан выворачивался, падал на бок и бедную соболюшку буквально, как плеть, бросало о снег, и она вскривалась.

– Ты его подстучи сзади по ноге. У копыта.. – крикнул Федя Второму Дятлу. – Там щикотное место. Осторожно. Смотри, дернет – убьет ее. Так. Давай! Еще. Еще!

– Ты не забудь соли пару мешков, – вдруг вывез Лосяра.

– Будет соль! Все будет! Дятя, смотри, чтоб он Лапку не стоптал! Теперь подними ногу! Да не эту!!! Наказанье! Да! Ставь! Да. Так, сначала нашарь, нашупай! Да не дави! Нашупай! Тюкни его! Во! Все, – крикнул Федя, – дома! Теперь весом! Весом! Есть – на морде шерсть!

Лапку Федя отправил в свое гнездо, туда же унес запас привады. Лапка ничего не говорила, только прижималась головой к его плечу и плакала.

– Живи у меня, кором есть, – сказал Федя.

– Нет, нет! – твердила Соболюшка. – На что я тебе *такая*! Вот лапку залечу – вернусь! У меня лежка у Нюрингде.

На следующий день Лапка убежала, и как-то сразу отдалилось, ушло поле обаяния. Все-таки гон у соболя позже, да и поважней дела были. Лапка ушла, но тоска и беспокойство остались, хотя не мыслями, а ощущением проникали в голову, в которой всегда одна мысль лежала. Давила, как каменная плита. Видимо, звериное настолько усилилось, что человежье под гнетом засочилось, зашевелилось, как бывает, когда совсем выживают, а места в обрез и за каждый кубик бой. И вопрос – или совсем уйти, или отстоять пространство. Трудное дело.

4. В небе над лесом

Федя заметил, что чем больше чистит капканы, тем сильнее входит во вкус. Иногда, конечно, он и перехватывал мышку для разнообразия и сугрева, но больше пасся на путиках – нравилась легкость, да и азарт в работе с дармовщинкой пришел. Принаглел соболек. Прижирел. Еще и сеноставкам наказал:

– Вы мне, эта, сена притащите в дупло. Хвоща помягче. Ясно излагаю?

– Ясно.

– Ну вот. Работайте.

В тайге всюю обсуждалось происходящее. Кедровки, кукши, белки, летяги, не говоря о мышах – все подкармливались привадкой, а тут, видя такое дело, забеспокоились. «От ить полобрюхий! Он чем больше путики чистит, тем больше ись хочет. Затравился. Этак он всю приваду прикончит», – переживали они за приваду, будто она ихняя.

А соседние мыши нарочито громко заговорили:

– А интересно, он сразу побежит посмотреть, что там у него дома творится? Или еще жиру доберет? Н-да... Говорят, жена-то его... того... хе-хе...

Только ворон, пролетая, сказал:

– Дурью не майтесь. Так он при деле и вас не трогает. А приваду кончит – за вас возмется. Маленько дальше носа глядите!

Федя все слышал и вздрогнул... Его, как лесиной, огрело. Шарахнуло. И стало будто размораживать, забирать открытием: оказывается, с самого момента пробуждения в дупле ему больше всего на свете хотелось поглядеть, что творится дома. Словно раньше его и близких только тайга разделяла, а теперь что-то гораздо большее, огромное, сильное и неизбежное – целая стена вставшая. Желание будто специально тайлось, чтобы теперь с головой и брюхом забрать. Даже представить себя без него было дико. Хотя он и не представлял, а только чуял.

Желание это состояло из двух желаний: из тоски по близким, обострившейся после пробуждения в дупле, и еще очень важного ощущения. При всем своем упрощенном устройстве, соболиной мироподаче, не отпускало одно чувство: что где-то там, в избушках, существует настоящий Федор. И желание взглянуть одним глазком на дом было именно с этим и связано: мол, все-то знают, что Федор-охотник в тайге, а он-то, Федя-соболек, и *подглядит*. Обманет расстояние. Но это одно. А вот тоска по близким была сильней и безотчетней и нарастала из подспудного, из той области, как птицы румбы чувят и рыба на нерест идет в единственную реку. Словно то глубинное, чему он не давал ходу, само за него решало.

«Кстати, у брата Гурьяна... через которого идти... У брата Гурьяна... там богато должно быть. Брат и приваду обновляет чаще, и куски не жалеет. Да и разнообразье – я тебе дам. Все пробует, и рыбу даже, и ондатру. Кстати, рыбки че-то охота. Да и в дорогу отъестся надо. Мало че дальше». Федя прекрасно понимал, что у брата и собак больше, и народу – Гурьян охотится с сыновьями. Все исхожено, изъезжено и избегано. «Хороший огород нагородил. В общем, так: в дупла и корни не улезать – выкурят. Можно в сопки уходить в камни. Прятаться на деревья, лучше в елку, и сидеть тихо у ствола, следить за охотником. Смотреть в оба. И всегда! Всегда быть с противоположной стороны ствола. Да! И на фонарь не смотреть! Ни под каким видом. Чтоб меж глаз не получить. Скорей всего брат пойдет сюда искать меня, я на связь не выходил, а обещал. Это, конечно, нам на руку. Да и вообще – на таком участке именно *меня* найти, самого ушлого – это как иголку в стогу сена. Ну вот так как-то. В общем, четкость, взвешенность и скрытность. Все. Вперед».

У брата Гурьяна стояло около двадцати избушек, и, по-хорошему, надо было его участок обойти. Но Федя не хотел бежать лишнего, да и обильные путики манили, какой-то даже зуд был на брата. Федя всегда завидовал его любви к промыслу, чуя в ней силу, от него укрываютю.

Федя, видимо, чересчур уверовал в свое знание повадок охотника, и не ожидал, что братнин огород будет столь плотным. На участке охотились трое, у каждого по три собаки, всего девять. Сначала шло гладко. За два дня отработал два путика, а потом вдруг именно в это место приехал Гурьян. Оказалось, осенью с сыновьями срубили здесь новую избушку, а ему не сказали зачем-то. В общем, Федю погнали Гурьяновы собаки, и он залез на толстую и густую елку, которую специально выбирал, рискуя промешкать. Схоронился в самую середину высоты, где еще густо, но далеко от полу. Брат никак не мог его добыть: соболь очень тихо перебирался, переползал змеино вокруг ствола по веткам, буквально обтекая его и вжимаясь в шершавую смолевую чешую, так что капли смолы влипали в ворс – но уж тут не до шубы. Гурьян и выглядывал – всю шею вывернул и выстрелить зверька пытался – бесполезно. Один раз пулька прошла вплотную и оторвала коготок на правой лапе, и лапу ожгло-контузило – но все не в счет и только собрало. Собаки охрипли. Гурьян серьезнел. Движения становились отрывистей, как-то резче. Один раз Федя видел, как тот остановился и помолился. Даже шапку снял. Открылись потные волосы, подлипшие вокруг головы, и из-за этого особенно широкая борода. И крестился, споро, размашисто и особенно кверху, с захлестом до края плеча закидывая двуперстие и словно сгоняя кого-то. И потом снова медленно-медленно шел по кругу, высматривая в елке. Глаза слезились, оттого что не моргал и не вытирал. Натоптал целую площадку, кольцо с веером лыжных отпечатков. Подходил несколько раз к елке – стучал топорикам. Потом запалил костер и пил чай из консервной банки от горошка. С галетами. Продолжалось это полдня. Так и брел по кругу, заворачивая носками лыж, переступая носками. Заломя голову. Был с «тозовкой» и истрелял патронташ пулек, и еще запасную пачку почти кончал – оставил пулек десять на крайний случай.

Под вечер тихо подтарахтел на новом четырехтактном снегоходе Гурьянов сын и Федин племянш Мефодий. Розовое лицо горело даже в сумерках, не набравшая силу моховая борода белела куржаком:

– Тятя, ниччо не пойму, – говорил он с жаром, – до базы доехал, вроде как оттуда следдевет нет. Кобель там сидит. Снегоход там. Карабин и «тозовка» – там! Он куда ухорониться мог?

– На лыжах ушел?

– Да ты понимаешь, тятя, он за день до снега в ручей оборвался – дак лыжи так и висят в жомах. А голицы старенькие под крышей. Я тоже думал по воду пошел и в полынью оборвался. Нет вроде. Да и ведро с водой стоит.

– Разморозило?

– Но. Копец ведру.

Через полчаса прибежали собаки, с ними Пестря, который, как показалось Феде, особенно рьяно залаял на елку.

– Ты, Нефодь, поди, не углядел че-то. Мне самóму надо. Вместе поедем. Только разберемся с этим. – Он кивнул на елку. И сказал со значением: – Ты путик видел?

– Но.

– И че думаешь?

Мефодий пожал плечами.

– Главное, здоровенный котяра. Два путика обчистил, – тревожно, собранно и немного отрывисто говорил Гурьян, – причем жердушки не трогают, только капканы на полу. Только на полу! И где приваду взял, там капкан запущенный. Где взял – там запущенный. Ничо понять не могу. Это че такое за специалист-то? Какой-то хитровыдуманный. Привады-то подходя взял.

«Подходя» – было излюбленное выражение староверов, в смысле – в подходящем количестве, на подходе к завершению плана.

– И оправляется-то так, видно, наетый. Я еще пойму, если голодный, как грится, страх потерял. А этот сытй. Ты понимаешь – сытй! Сильно грамотный... И вот. – Он вдруг невольно заговорил тише, и снова кивнул на елку. – Это... он по-моему... заговоренный какой ли. Мы

его загнали сюда, дак он будто понимает: я как не иду – он все с той стороны елки. Как ни иду – все с той. Переползает, гад. Я уж думаю, не бес ли тут морочит?

– А возможно, тятя.

Гурьян помолчал, потом решительно и громко спросил:

– Даке говоришь, нет дяди? Добром смотрел?

– Да в том-то и дело, что нет! Вот ты вспомни, тятя, он на связь выходил, как раз середка была, а ночью снег упал, пухляк-то. И вот следдев-то больше нету! Нет следдев! Все. Чисто. Если бы он после снега ушел, я че – не слепой, увидел бы!

– Да поди, – сосредоточенно ответил Гурьян. Помолчал и возразил: – Однако это вторник был.

– Ково вторник? Середка. Еще этот баламут, Лабаз-то, соболя по радиации обдирал, всех извел, дядя ему помогал ишшо. Это середка была, я с домом разговаривал. У них как раз вертолет рейсовый садился, мать сказывала.

– Ну да, – так же сосредоточенно, в уме подсчитывая, отвечал Гурьян. – Середка, выходит. Точно. Мы же вечером собрались на Центральной, а в четверг мясо вывозили до обеда. Уже четверг был. Я еще утром Перевальному сказал, что на двух техниках поедем. Ладно, Нефодь. Сегодня Лева придет, завтра мы его втроем-то прижучим. Далеко не убежит.

– Бать, – сказал медленно Мефодий, будто не слыша, – а ты про Соболиного Хозяина слышал?

– Да слышал. Дед рассказывал че-то...

У Мефодия был с собой карабин, он попытался высветить фонариком елку, пару раз выстрелил наугад. Потом даже крикнул бодро: «Тятя, давай я залезу!» Но Гурьян его укоротил: «Заводи».

Мефодий завел похожий на насекомое снегоход, с пластмассовой, набранной из желтых угловатых плоскостей мордой, со стрекозиным выражением узких фар, из которых полился яркий свет, совершенно не шедший таежной обстановке – нежный, какой-то нетрудовой, из другой жизни. Снегоход тарыхтел по-мотоблочному. Гурьян долго притыкал, прилаживал лыжи – потом сел, и они утархтели. Только едко дымил костер, частью провалившись в снег и вытопив дыру до подстилки, а частью обугленных палок вися на снежных плечах. Пахло аптечно паленым мохом. Собаки, их было семь штук с Пестрей, так и лаляли, то затихая, то вдруг, объятые одним им понятным порывом, заходились с новой силой. Было ясно, что ни они, ни Гурьян с сыновьями не отступятся и наутро с трех точек выстрелят его, изрешетят елку. И если даже попытаться в темноте верхом (с дерево на дерево), то далеко не уйти.

Гурьян с Мефодием в это время подъезжали к избушке. Там горел свет, всюду ревела печка и орудовал Левонтий, самый молодой, по-мальчишески худощавый и с еще более похожей на мох бородой, лепящийся неровно по уже узнаваемым отцовским скулам. Пока мужики рассупонивались, оплывали льдом с усов и бород, он горячился:

– Тятя, у меня фонарь мощнецкий, давай щас поедем, мы его махом высветим, пулек наберем!

– Ну, тятя, – подхватывал Мефодий, – ты сам говоришь, он хитровыдуманный. Он собак надурит и уйдет.

Дымила на большой глубокой сковородке каша с рыбой, капуста домашняя стояла в банке.

– Фодя, Лева, давайте. Молимся, – сказал отец и строго глянул на Левонтия, который, по его мнению, недостаточно высоко крестился: – Левонтий, сколь раз тебе говорил, ты ково так крестишься? Креститься так надо! – И он показал, касаясь двуперстием самого приверха плеча. – У нас у дядьки Тимофея было: все то болел, то с работой не ладилось. А ему потом наш дед сказал: до самого края надо! Он так зачал креститься, и все – как отрезало. Хе-ге –

Гурьян рассмеялся с прохладцей. – А у его, оказывается, одиннадцать лет бес на плече высидел. Одиннадцать лет! О как! Дьявола, они креста боятся! Так от...

После трапезы ребята снова завели:

– Тятя, с ним разбираться надо. Он покою не даст.

– Тятя, он попробовал. Его теперь не отвадишь.

– Не, сыны. Че мельтусить. Исконі говорили: утро вечера мудренее, – говорил своим чуть рубленным баском Гурьян. – Тут надо все вокруг понять. Охота охотой... А мы хоть люди охотчие, но с братом не дело.

– Ну тя-я-ять... – тянули Мефодий с Левонтием.

– Закончили, сказано, – поставил точку Гурьян. – Завтра как обутрят – с этим хунхузом разберемся, а послезавтра – до Федора.

В это время в Фединой небольшой головке стояла одна напряженная мысль: как быть? Вероятность маленькая, что собаки его бросят, убегут в зимовье, но подождать стоит, глядишь, что и найдет. Уже перевалило далеко за полночь, а собаки и не думали уходить. То успокаивались, то взирали с новым азартом.

В елке копошились поползны, ползали по стволу головой вниз, пищали. Федя поймал, придавил одного:

– Слушай меня внимательно. Если не будешь рыпаться – не трону ни тебя, ни твою родову. Не будешь верещать, сделаешь все, что скажу – еще и отблагодарю. Ну что? – и даванул поползнь так, что тот захрипел:

– Что делать надо?

– Собак отвлечь.

– Ты бы попросил добром, я и так бы помог.

– Не умничай. «Попросил»... Будто сам не видишь, что творится?

– Делать-то что надо?

– Для начала подлети поближе к собакам. Сведай, кто чем занят. Где сидит.

Поползень слетал и рассказывал громким шепотом:

– Буран сидит лижется, Аян под елкой. Пестря на елку орет, как сумасшедший. Норка – тоже орет и на Пестрю поглядывает. А Кузя тоже лает, но задирается к Пестре... Переживает. Бусый валяется, шкуру чистит...

– Стоп, – наморщился соболь. – Ясно. Надо вам с твоим братцем сесть над Аяном на веточку и затравить его на кого-нибудь. Чтобы они убежали...

– Что там какой-нибудь зверь, ну... более... – начал было поползень и испуганно замолчал.

– Ну че замолчал, хе-хе? Говори уж, че думал, что зверь более ценный, чем я, – разжеывая чуть не по складам сказал Федя. – Ну?

– Ну да, – смущенно пискнул поползень. – А кто? Сохатый?

– Да какой сохатый?! Я для них сейчас всех сохатых важней.

– Ну, а кто тогда? Медведь: не поверят – они здесь все берлоги знают. Росомаха?

– Э-эх... – разочарованно протянул Федя, – удивляюсь я на вас. Взрослые вроде пичуги. Росомаха... Другой раз, может, и сработало бы. Но не теперь. Тут надо что-то, ць, такое! Чтобы имя всю подноготню вывернуло.

– Че-то не могу сообразить...

– Глухарь? – пискнул брат Поползнь.

– Да какой глухарь?! Объясняю: рысь! Слышали такого зверя?

– Брысь? А кто это?

– Не брысь, а рысь. Здоровая кошара. Их нет здесь. Но псы тем лучше затравятся.

– А кошара – кто это? На-подвид волка?

– О-о-о, – раздражаясь потянул Федя, – тяжело с вами. – Кошка. Такой зверь домашний. Но есть еще и дикий. Короче, я не нанялся тебе лекции о фауне читать. Сядьте на ветку и начните судачить: мол...

– Понял, понял! – радостно перебил-защебетал Поползень. – Там в ручье Рысь сидит! Там Рысь! Там Рысь! Пи-пи-пи! Так?

– Те и «пи»! От ить деревня! Надо сказать так, чтоб... эх! Чтоб они поверили! Какая «Рысь, пи-пи-пи»? Ничо не можете! Надо сказать... – И он произнес заправски, неторопливо и веско: – Слышь, Серая спинка, я чуть не упал тут. Шелушил сушину на краю гари у Юдоломы, и вдруг кто-то ка-а-к... И повтори: ка-а-а-к...

– Ка-а-ак...

– Ка-а-ак мявкнет! Да так хрипло, главное, – я чуть личинкой не подавился... Понял?

– А какой личинкой, сказать? Усача или короеда?

При слове «личинка» Федю и Поползня моментально окружили поползни и открыли писк:

– Лубоеда!

– Жука-сверлилы!

– Не! Лучше толстошупика!

– Толстопопика! Кая разница? Не-вы-но-симо! – Федя аж куснул кору. – У вас товарищ будет с голодудохнуть, а вы его сверлить будете: тебе корошупика или тупоусика! Все мозги проели своими бекарасами. – Федя аж метнулся по ели так, что собаки залились, но успокоился и сказал, выдохнув: – Здесь важно дух передать. Скажи: «Поближе-то подлетел. И обомлел. Смотрю... скажи, кедра – аж шапка с головы падат!» Обязательно так скажи!

– Как это шапка?

– Ой да чего вы нудные! Короче, скажи: «Кедра! Не, не так. Вот как: скажи, кляповая лесина...»

– Какая?

– Кляповая. Наклонная, значит. И на ней: Рыси здэ-э-эровый кошак сидит. На кедре...»

Ну-ка, повтори:

– Рыси здоровый к-э-э-эшак сидит...

– Не «здоровый кэ-э-эшак», а «здэ-э-эровый ка-шак»... И скажи: «Когти – о! На ушах кисточки – хоть ворота крась. И ворчит так противно, мол, я этих собак всех передавлю... Вопшэ не перевариваю их родову...» Ну че-нибудь такое. Поняли? Ну чтобы они затравились... Мол, я этих шавок вообще в грош не ставлю... Во! – воодушевился Федя. – Мол, будут борзеть, все дядьке своему скажу, он их на рямушки порвет! Поняли? Обязательно скажи «на рямушки!» Скажи, летом как раз под Уссурийск собираюсь. Там фазан до того жирен, аж с хвоста капат. Хоть банку ставь. Запомнили?

– Поняли! Поняли! Пи-пи-пи!

– Всю родову, мол, передавить обещал. Можно еще сказать: и до того злосмradно от него кошатиной прет, что аж...

– Что аж мутит!

– Что аж мутит. Ну все. Маленько потренируйтесь, а я... подумаю.

«Кошак-то, конечно, хорошо, а что дальше-то делать? – тревожно размышлял Федя. – Даже если Гурьян поедет ко мне на базу, то племяши мне тут устроят... рямушки. Драть надо отсюда, хоть по воздуху. Эх».

И услышал, как поползня начали:

– Слышь, Носик, у тебя нет жучка позабористей?

– А че такое?

– Че-то мутит... Стоит в горле этот запашина кошачий..

– Како-о-ой?

- Чево-о-о-о?
- Раздались возмущенные голоса собак:
- Да быть не может! (Обожди, Бусый! Задрал с кусачками!)
- Ры-ы-ысь?
- Что, прямо так и сказал: «на рямушки?»
- Ну да: так выходит!
- Да что же эт, братцы?!
- Надо наказывать!
- Брать надо!
- Нельзя так оставлять!
- Тут только слабину дай!
- Слабину почуют – вообще проходу не дадут!
- А соболь как же?!
- Накажем и с сободем разберемся! Далеко не уйдет.
- Не, мужики, за такое сразу... учить надо!
- Да конечно!
- А я, главное, бегу седни и... как кошаниной набросит. Еще думал, онюхался. Думал, откуда ей здесь взяться?!
- Да заходят!
- Заходят! Вон че отказыватца. Нос не обманешь, хе-хе!
- Так, ну че? Хорош сопли жевать! Работать его надо! Кто за?
- Все за! Гав!

Собаки еще погалдели, погавкали на елку, мол, сиди смирно, «только дерни отсюда», и убежали. Федя выждал полчаса, велел поползням замолчать и, спустившись пониже, долго слушал удаляющийся топ и шорох. Когда убедился, что никто не вернулся, спустился на пол и во весь опор побежал в противоположную сторону.

Уже чуть светало. Он выбежал на маленькую проплешинку среди кедров, растрепанных и стоящих навалом во все мыслимые стороны, словно их приморозило в момент, когда они что-то с жаром обсуждали, маша лапами и качаясь от возмущения или восторга.

На светлеющем небе горели звезды. Снег был особенно ясным, объемным, великолепно-парадным. На нем синела канавка с крестами глухариных лап. Под большой узловатой кедриней, как ножницами, накрошили хвою, и глядела в выставшее небо лунка. «Хорошо живет, поел, тут же нырнул. Потоптался, поворочался, снежок пообмял» – Федю раздражил безмятежный глухариный режим. Он начал очень осторожно приближаться к лунке, как вдруг из нее раздался строгий голос:

– А ну, стоять, пока в лоб не получил!

«Да что за невезенье!» – аж изогнулся от досады Федя, как внезапно из снега показалась здоровенная глухариня голова:

– Че крэдесся? Даже не думай! Нашел поползня!

– А ты откудова знашь? – удивился Федя.

– Я все знаю, – отрезал Глухарь. – А ну, назад!

Федя покладисто отбежал, повернулся к Глухарю, стал столбиком и сказал:

– А на тебе можно улететь?

– В смысле? – не понял или сделал вид Глухарь. Сама по себе картина была замечательной: синий снег, нежнейшее предутреннее небо и черная бородатая голова в лунке, как в вороте. Из ноздрей и клюва шел парок в такт дыханию. Правда, Феде не до видов было.

– Я знаю: на тебе улететь можно. Слушай, мне край надо. Да и это тебя касается. Сейчас сюда прибежит десяток собак и Гурьян с сыновьями. Все равно жизни не дадут. – И добавил

заманистым тоном: – А я тебе расскажу, как себя вести, чтобы ни-ког-да не попасться. Только для этого надо будет... все соблюдать. Технику безопасности.

– Техника безопасности глухаря, – громко проговорил Глухарь. – Никогда не верить соболю. Хе-хе...

– Вот клянусь, друга, – сказал Федя, – стою вот перед тобой. Как есть. Че не веришь? Раз такой... всезнающий.

– Куда лететь? – быстро сказал Глухарь и, выбравшись на снег, похлопал крыльями и так богатырски покрасовался статью, грудью («Эх хорошо, с утра морозец!»), что Федя сказал про себя: «Здоров! Ничего не скажешь».

– В поселок.

– А садится куда?

– Ну там аэродром, хе-хе. А если серьезно – хоть куда, главное, поближе к дому, на краю там.

– А там есть лохматые кедрины?

– Вот я как раз хотел сказать. А ты на кедре сможешь сести... с грузом? Там кедр лохматая такая на краю, прямо как шар, вот в нее если попасть, то само то будет. Прямо с леса залететь, никто не увидит.

– Не увидит – это полдела. А что по полу подхода не будет – важно. Собакам хоть заорись – никто не поверит. – Бородатый Глухарь басил не то что самоуверенно и не то что пренебрежительно. Пренебрежительность предполагает давление на того, кем пренебрегают, пусть и таким сподтишковым способом. А Глухариный тон, если что и выражал – то естественное состояние знания. И соболек, собиравшийся придавить петушину за шею в лунке, перед ним мельчал, словно придавливали его, но не упреком и неуважением, а правдой, к которой хотелось прибиться.

– Но, – сказал Федя, – а ты грамотный.

– Х-хе, еще ветер какой будет, – резанул с напором на Соболя Глухарь, пустив лезть мимо ушей. И Соболю показалось что он сам в два счета превратил из заказчика в какого-то помощника.

– Ветер нормальный, – вытянул вверх острую скуластую морду и лизнул кончик носа Фудя. – Сейчас север дует, как раз под него снизу зайти.

– Если снизу заходить будем – нормально, – сказал Глухарь густо, сильно.

– Я грю, снизу.

Небо наливалось светом, ярким, торжественным и всегда поражающим этим каждодневным, ликующим, зимним совершенством каждого тона. Красота была в такой розни с происходящим, что Соболю сильней заторопил:

– Ну что?! Пробуем?

– Так, – сказал сосредоточенно Глухарь, – Давай с моей тропы попробуем. Она проколела. Сядешь. Разбегуся и полетим. Ты, главное, держись добром. И не дури – только почувствую зубы – так оземь шарахну, что дух выпустишь. Понял?

– Да понял. Понял.

– Ты за зубами за перо прихватись, прямо пониже возмись, под корешки. И лапами держись передними прямо за шею. А как взлетим, зубы отпустишь, а лапами будешь держаться. Главное, взлететь. Морда у тебя острая, парусить не будет – уши ветром придавит, только держись.

Было ощущение, что он каждый день извозом соболей занимается.

– Давай – пробуй, а то точно попадем: ты на пялку, я на приваду.

Глухарь уже стоял на своем каменном следе с синими крестиками. Соболю запрыгнул и взялся, как сказали.

– Все? – крикнул Глухарь. Соболю хлопнул его передней лапой по перу.

Глухарь побежал, захопал крыльями, совсем чуть-чуть оторвался и, едва пролетев, лупя крыльями по снегу, сел, проехав и взвив снежный морок, так что Соболя всего припорошило, особенно морду.

– Че такое? – спросил Соболя.

– Полоса короткая, мне не хватит. В лес воткнусь. Да и вообще, че с тягой. Так... слушай, давай попробуем вот как: ты сиди здесь, рядом с полосой. Я разбегусь, оторвусь сантиметров на сорок, а ты прыгай. На пенек на этот залезь и с него прыгай.

Федя залез на кедровый обломыш с острыми сучьями и сосновой шишкой в расселине. Глухарь разогнался, взлетел, соболя прыгнул, но Глухарь пролетел совсем низко метров десять и рухнул, пробороздив снег.

– Неа. Тяги не хватат. Вроде разогрелся. И мороз. Не знаю... – сказал Глухарь, тяжело дыша, но не жалуясь, а даже пребывая в каком-то рабочем азарте.

– Ты ел сегодня? – строго спросил он Федю.

– Да нет! Ничо не ел, – сказал Федя и, подумав: «Нда, не тот нынче глухарь пошел», предложил: – Со скалы надо попробовать. Или вот хотя с листвени. Во-о-н с той надо, с берега. Давай вон на бережок выберемся.

Федя выбежал на бережок речки и залез на высокую листвень, которые вымахивают на таких берегах, куда наносит рекой плодородную почву. Глухарь тоже взгромоздился на листвень:

– Ну че, садись.

– Погоди. Ты это, – сказал Соболя, – камни сбрось.

– Какие камни?

– Ну в зобу-то...

– Ты совсем трекнулся? Я те где сейчас камней добуду?

– А я тебе адресок скажу – есть обнажение на Майгушке, там в любое время камня возьмишь, там осыпь такая...

Глухарь выплюнул камешки, некоторое время отдышался.

– Ты это, если тяжело будет, – заговорил Соболя, – садись там где-нибудь.

– Ты че как маленький? – осадил его Глухарь. – Тут если делать – то делать. Чем ближе к поселку – тем больше и собак, и народу. У поселка вообще лыжня на лыжне. Ученики еще эти... шнурят везде. Не-е-е, – с прохладцей и почти презрительно протянул Глухарь, – тут или до упора лететь, или тогда затеваться нечего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.